

Константин Вагинов

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Константин Вагинов

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Подготовка текстов, составление, вступительная статья, примечания А.Герасимовой



Издательство «ВОДОЛЕЙ»
ТОМСК — 1998

ББК 84.Р7
В12

Учредитель издательства «Водолей» —
Томская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина

Издательство благодарит писателя *Сергея Соколовского* и поэта *Артура Крестовиковского* за содействие в издании этой книги.

В12 Вагинов К.К. Стихотворения и поэмы.— Томск: Издательство «Водолей», 1998.— 192 с.

Константин Вагинов (1899-1934) по недавним переизданиям уже известен читателю как прозаик. Эта книга — наиболее полное на сегодняшний день собрание его стихотворных произведений. Современники считали К.Вагинова, младшего пасынка «серебряного века», поэтом для поэтов и филологов, бесконечно далеким от внешних катаклизмов эпохи. Болезненный излом, «декаданс декаданса» сочетался в его стихах с дразнящей и странной новизной «старинных слов», повернутых и почувствованных по-новому.

В Приложение включены материалы (фрагменты критических статей, мемуары и проч.), имеющие отношение к поэтической деятельности Константина Вагинова.

Главный редактор Е. Кольчужкин.
Корректор В. Лихачева.

Сдано в набор 21.05.98. Подписано в печать 24.06.98.
Формат 84х108 1/32. Гарнитура Бодони. Печать офсетная.
Печ. л. 6. Условн. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 11,64.
Тираж 1000. Заказ № 333

Лицензия ЛР № 070405 от 14 августа 1997 г.
Издательство «Водолей», 634000, пер. Батенькова, 1

Отпечатано с оригинала-макета, подготовленного издательством «Водолей»
Сибирское издательско-полиграфическое
и книготорговое предприятие «Наука»
630077, Новосибирск-77, ул. Станиславского, 25

В $\frac{4702010202}{М46(03)-98}$ без объявл. ISBN 5—7137—0104—2

О СОБИРАТЕЛЕ СНОВ

> ...Покойных дней прекрасная Селена, Предстану я потомкам соловьем, Слегка разложенным, слегка окаменелым, Полускульптурой дерева и сна, —

писал Вагинов в 1923 году. Еще раньше о нем было сказано: «...весь Вагинов — это рассказывание снов, прекрасных и тающих неуловимо...». А незадолго до смерти он передал своему другу Н.С.Тихонову рукопись одного из вариантов последнего, незавершенного романа, которая называлась «Собиратель снов». В этом романе герой в буквальном смысле коллекционирует, даже покупает чужие сны, и сам Вагинов, работая над романом, собирал и записывал сны для этой коллекции.

На него возлагали большие надежды. О его стихах хорошо отзывались Кузмин, Гумилев, Адамович, Мандельштам. Он не стал эмигрантом, не был репрессирован, даже издавался — небольшими, правда, тиражами. Умер в бедности, тридцати пяти лет, своей смертью. На деньги, выделенные Издательством писателей в Ленинграде, вдова поставила на его могиле мраморный крест. Крест давно пропал, могила на разоренном Смоленском кладбище затерялась. О Вагинове надолго забыли.

Хотя, что значит — забыли? Его не стали переиздавать, о нем наконец замолчала официозная критика. Но друзья и близкие и просто близкие по духу читатели — помнили. В шестидесятые годы эту память подхватили молодые ленинградские филологи. Прошло еще тридцать лет, и вот Вагинова уже издают и переиздают на родине.

При жизни писателя вышли три книги его стихов: «Путешествие в хаос» (1921), [Стихотворения] (без названия) 1926 г., «Опыты соединения слов посредством ритма» (1931). Было издано также три романа: «Козлиная песнь» (1928), «Труды и дни Свистонова» (1929), «Бамбочада» (1931) — они приобрели сравнительно большую известность, чем стихи. Четвертый, незавершенный роман «Гарпагониана» увидел свет за рубежом, в издательстве «Ардис», в 1983 г.

Первое полное собрание стихотворений Вагинова было издано Л.Чертковым в Мюнхене (1982) — в нашей стране оно дошло в лучшем случае до узкого круга филологов. Правда, существует мнение, будто Вагинов — поэт именно для узкого круга филологов. Что ж, теперь у нас есть возможность проверить это на практике.

* * *

Константин Константинович Вагинов родился в 1899 г. в Петербурге. Его отец, Константин Адольфович Вагенгейм, был жандармским полковником; мать, Любовь Алексеевна, происходила из семьи богатейшего сибирского золотопромышленника. Кое-где можно прочесть о том, что фамилия «Вагинов» — псевдоним. Но это не так: подобно многим военным с немецким происхождением, К.А.Вагенгейм переиначил свою фамилию на русский лад во время первой мировой войны.

«Маленький Костя, мальчик хилый <...> не бегал, не играл, все происходившее в семье ему было чуждо, и жил он исключительно умственными интересами. С десяти лет пристрастился он к нумизматике <...>. Нумизматика привела его к археологии, к изучению древней и средневековой истории. История привела его к поэзии». Так описывает вагиновское детство один из его друзей, Николай Корнеевич Чуковский[1].

1917 год отнял и богатство, и положение в обществе. Вчерашний воспитанник классической гимназии Гуревича рванулся из ослабевших пут чинной книжной жизни и очертя голову пал на петроградское дно.

> Среди ночных блистательных блужданий, Под треск травы, под говор городской, Я потерял морей небесных пламень, Я потерял лирическую кровь...

От недолгих, но бурных скитаний по этому темному кокаиновому дну осталось у него характерное ощущение опустошенности, тоска по вылету из реальности в иллюзорный мир наркотических переживаний, порой не менее разрушительных, чем переживания осязаемые.

Впрочем, что до осязаемых переживаний, они не заставили себя ждать. Поступивший было на юридический факультет университета, он уже в начале 1918 г. был мобилизован в Красную Армию, побывал с ней в Польше и за Уралом. По сообщению его вдовы Александры Ивановны, был санитаром.

Надо сказать, что события внутренней жизни Вагинова в основном приходится восстанавливать косвенным путем по его стихам и прозе — дневников и писем практически не сохранилось, а откровенничать он, по свидетельствам современников, не любил. Период гражданской войны остается наименее ясным во внутренней и внешней вагиновской биографии, ибо в творчестве его он отражен весьма скупо. Разве что в стихотворении «Юноша» (1922): «Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска. В Польшу налет — и перелет на Восток...» А может быть, впечатления тех лет преломились в загадочной образности его первой книги «Путешествие в хаос»: эти «розовые дыры», эти души, прорастающие травой и уходящие в камни? Так или иначе, — очевидно, что никакое богатство жизненных реалий не смогло победить в нем упрямой оторванности от жизни, заложенной едва ли не с детских лет,

1 Чуковский Н. Константин Вагинов // Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 180. В сокращенном виде это эссе вошло в Приложение к настоящему изданию.

когда, перебирая старые монеты в банкирской конторе Копылова, он «приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности» («Козлиная песнь»).

В 1921 году Вагинов вновь оказался в Петрограде. О войне напоминала в нем лишь пустота на месте передних зубов, выбитых, говорят, ударом приклада. Вот каким он увидел себя:

«Я в сермяге поэт. Бритый наголо череп. В Выборгской снежной кумачной стране, в бараке № 9, повернул колесо на античность. <...>

Тело весит мое: 2 пуда 30 фунтов, с одеждой» («Звезда Вифлеема», 1922).

Город, изменившийся за время отсутствия юноши, многое мог сказать его воспитанному на античности воображению. «Город был пустынен и прекрасен. Ни прохожих, ни лошадей, ни машин. Петербург превратился в декорацию»[1]. «Заводы и фабрики почти не работали, воздух был чистый и пахло морем. <...> Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью»[2].

В своем докладе, прочитанном 27 сентября 1923 г. в Пушкинском доме, поэт Вс. Рождественский восклицал: «Петербург! (Не «Петроград» — слово, чуждое культуре, безродное, сочиненное, а именно Петербург!) <...> история отошла от него к кипящему сердцу страны и унесла с собой время, оставив на невских берегах вечность. «Петербург» — я пользуюсь образом одного из стихотворений М.Лозинского — это корабль, отошедший в неведомое плавание. Он уже вне времени. В нем теперь, как в Риме и Париже, скрещиваются пути всех времен и всех культур. Но ближе всего ему, кажется, дорический портик и тяжелый меч римского Сената.

Вот почему сочетание античности и Революции — тема чисто петербургская, определившая многое в поэзии О.Мандельштама, Анны Радловой и К.Вагинова. <...>

Второе, более значительное, что внесла Революция в сознание петербургских поэтов, — это прекрасное, ни с чем не сравнимое чувство полной свободы от времени и пространства...»[3].

Флагманом культурной жизни Петрограда выплывал в 1921 году знаменитый Дом Искусств, или «Диск», описанный впоследствии в романе О.Форш «Сумасшедший корабль». Размещался он в доме у Полицейского моста, выходившем тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. В бывших меблированных комнатах и трехэтажной квартире прежнего домовладельца, купца Елисеева, поселились писатели и художники, был выделен зал для лекций и концертов, помещение для возникших при «Диске» семинаров и студий. Занятия поэтической студии «Звучащая раковина», которые вел Н.С.Гумилев, вместе с другими молодыми поэтами

1 Наппельбаум И.М. Памятка о поэте // Четвертые тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 91. (Далее ЧТЧ).

2 Ходасевич Владислав. Дом Искусств // Книжное обозрение. 1988. 20 июля. № 30. С. 8.

3 Рождественский Всеволод. Петербургская школа молодой русской поэзии // Записки передвижного театра П.П.Гайдебурова и Н.Ф.Скарской. 1923. 7 окт. № 62. С. 1-2.

посещал и Вагинов. После теоретической лекции часто играли в буриме, импровизировали стихотворные диалоги, иногда при участии членов «Цеха поэтов», а то и устраивали веселую кучу малу на полу в холле[1]. На занятиях «Звучащей раковины» Вагинов познакомился и с А.И.Федоровой — позже она стала его женой.

Еще до революции, гимназистом, Вагинов начал писать стихи — тетрадь этих юношеских стихов, подаренная автором К.М.Маньковскому, хранится в РО ИРЛИ в архиве последнего. Описывая эту тетрадь, ленинградский исследователь Т.Никольская отмечает влияние Бодлера и Де Квинси, русского футуризма и имажинизма, К.М.Фофанова. «Центральные темы вагиновского творчества — судьба культуры в современном мире, Петербург как хранитель европейской культуры, гибель античных богов — уже намечены в юношеских стихах, — пишет Т.Никольская. — Здесь впервые появляется образ истощенного, бледного Аполлона с печальным и мутным взором. В одном из стихотворений Христос и Аполлон, ставшие «простой игрушкой людей», превратились в изгнанников, тоскующих в далекой снежной Сибири о былом величии. <...> Поэт предсказывает гибель города, после которой последует его воскрешение как языческого центра и история пойдет по новому кругу»[2].

Первым литературным объединением, в котором принял участие Вагинов, был союз четверых молодых поэтов (кроме него, туда входили упомянутый К.М.Маньковский и братья Б.В. и В.В.Смиренские), с неумелым, юношески претенциозным названием «Аббатство гаеров», возможно, восходящим к названию французской литературно-художественной группы «Аббатство»[3]. Слово «гаер» позволяет предполагать, что название было предложено Вагиновым: именно для его стихов и особенно прозы характерен оттенок «гаерства» — шутовства, балансирования на лезвии иронии, в то время как в стихах Б.Смиренского и В.Смиренского (писавшего под псевдонимом Андрей Скорбный) этого оттенка нет[4].

Но «Аббатства» молодым братьям Смиренским показалось мало, и они затеяли «Кольцо поэтов имени К.М.Фофанова» — один из занятных эпизодов литературной жизни тех лет. «Кольцо» было образовано в марте 1921 г. при участии Константина Олимпова

1 См.: Наппельбаум И. Звучащая раковина // Нева. 1982. № 12; Тихонов Н. Устная книга // Вопросы литературы. 1980. № 6; Чуковский Николай. Правда и поэзия: Из воспоминаний. М., 1987; Ходасевич Владислав. Цит. соч.

2 Никольская Т.Л. К.К.Вагинов (Канва биографии и творчества) // ЧТЧ. С. 68-69. Прибегаем к свидетельству Т.Никольской, так как доступ к этим материалам оказался для нас закрыт. Видимо, это и есть «парчовая тетрадь» ранних стихов, которую Л.Чертков числит утерянной.

3 Существовало с 1906 г. по начало первой мировой войны; в свою очередь, французские писатели назвались так в подражание Телемскому аббатству у Ф.Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль»). В «Аббатство» входили Ш.Вильдрак, Р.Аркос, А.Мерсеро, Ж.Дюамель, Ж.Ромен и др.

4 См.: Скорбный Андрей. Звенящие слезы. Пб., 1921; Больная любовь. Пб., 1922; Смиренский Борис. Лунная струна. Пб., 1921; В лимонной гавани Иокогама. Пб., 1922. Стихи эти, впрочем, были довольно слабые и несамостоятельные; вскоре оба брата перестали их писать. О дальнейшей литературной судьбе братьев Смиренских см.: КЛЭ. М., 1971. Т.6. Стлб. 973-974.

(сына К.М.Фофанова), в прошлом — соратника Игоря Северянина по Вселенскому Эгофутуризму. Смиренские разработали устав, по которому от членов «Кольца» требовалось «влечение к высокому и непонятному», а также интерес к поэзии Фофанова, и разослали приглашения вступить в «Кольцо» множеству литераторов. Сохранилась стихотворная афиша, в которую вошли, очевидно, имена всех тех, кто ответил согласием на предложение вступить в «Кольцо», — этот любопытный документ эпохи можно прочесть в Приложении. Книги участников «Кольца поэтов» и К.М.Фофанова должны были издаваться на членские взносы. «Кольцо поэтов» просуществовало недолго, но успело издать несколько книг, в том числе книгу стихов Вагинова «Путешествие в хаос» (в количестве 450 экземпляров). Книжечка, открывавшаяся посвящением «Достохвальному аббатству Гаэров», была тоненькая, небольшого формата, так что «на ветру на улице» ее «нужно было крепко вжимать в пальцах, чтобы несколько талантливейших страничек не улетели, подобно крохотной птичке»[1].

«Путешествие в хаос» собственного сознания, смятенного внешними событиями и взорванного опьяняющими веществами изнутри, — эта книжка, местами еще ученическая, но уже характерно вагиновская. «Стихи его бред, конечно, но какой заставляющий себя слушать бред! — писал Вс. Рождественский. — Хорошей болезнью встряхнуло Вагинова — он потерял чувство обычного пространства и обычного времени. Широко раскрытыми глазами смотрит [он] на райские леса, которыми зарастают городские площади, и в трамвайном лязганье слышит колокольчики кочевого Багдада. <...>

В наше культурное время большая роскошь оступиться на гладкой дороге. Ошибки Вагинова приятны. <...> «Увидеть по-новому» самая дорогая возможность для поэта»[2].

Не один Вс. Рождественский приветствовал появление новой фигуры на поэтическом горизонте Петрограда. Доброжелательно отозвались на вагиновский дебют И.Груздев, О.Тизенгаузен, Г.Адамович. Сам Вагинов, однако, был недоволен, скупал нераспроданные экземпляры, исправлял и дописывал и только после этого дарил друзьям[3], экземпляр же, подаренный Александре Ивановне, по ее рассказу, сжег и сказал: «Это плохие стихи». Впрочем, эта привычка — исправлять уже напечатанную книгу — сохранилась у него и позже: так, в РО ИРЛИ хранится переделанный таким образом экземпляр романа «Козлиная песнь».

Вторую часть «Путешествия в хаос» составил цикл «Острова», датированный довольно невероятно и, возможно, даже с вызовом — 1919 г. Автор в это время, судя по всему, «кормил вшей», таскал на себе раненых в товарные вагоны, получал прикладом в лицо, — стихи же, болезненно-изысканные, с легким оттенком пародии, зовут: «О, удалимся на острова Вырождений...». Позднее образ острова, островов станет у Вагинова одним из сквозных — будь то остров Петербург в стране Гипербореев («От берегов на берег...»,

1 Борисов Леонид. Родители, наставники, поэты... Книга в моей жизни. М., 1967. С. 85.

2 Книга и революция. 1922. № 7 (19). С. 63.

3 См.: Т.Никольская. Цит. соч. // ЧТЧ. С. 72.

1926) или же остров Цирцеи, на котором поэт-Одиссей спасается от моря социологии («Козлиная песнь»). И громить его и его друзей будут как «островитян искусства»[1], бежавших на свой эстетский остров от нужд «реальной жизни». Словом, далеко не случайно следующее поэтическое содружество, в которое вступил Вагинов, носило название «Островитяне» (туда входили еще Н.Тихонов, С.Колбасьев, П.Волков). Альманах «Островитяне» со стихами Вагинова, Тихонова и Колбасьева вышел весной 1922 г. (датирован декабрем 1921 г.). «Мы выпустили даже что-то вроде манифеста, который напечатал Эренбург в Праге, — вспоминал Н.Тихонов в своей «Устной книге». — <...> Когда нас спрашивали, отчего мы называемся «Островитяне», не живем ли мы на Васильевском острове, мы отвечали:

— Нет, нет, наш лозунг — из островов растут материки»[2].

Можно предположить, что для Вагинова в слове «островитяне» содержался смысл, более близкий к его «Островам». Содружество вскоре распалось — слишком разными были объединившиеся в нем поэты. Сам факт союза с Тихоновым и Колбасьевым, однако, означал для Вагинова некоторый отход от «Цеха поэтов», куда он был принят как «подмастерье». Рецензия на альманах «Островитяне» помещалась в журнале «Жизнь искусства» непосредственно под тихоновской статьей «Граненые стеклышки» — резким выпадом против «Цеха поэтов».

В том же 1921 г. Вагинов был принят в Союз поэтов. Вскоре он сблизился с эмоционалистами и сыграл заметную роль в их сборнике «Абраксас»[3]. Здесь было опубликовано несколько его стихотворений и два небольших прозаических произведения: «Монастырь Господа нашего Аполлона», нечто среднее между манифестом, притчей и фантазией, и «Звезда Вифлеема», где противопоставление новой религии «вифлеемцев» гибнущей языческой культуре приобретало рискованный политический оттенок[4].

Стихотворения, помещенные в «Островитянах» и «Абраксасе», говорят о стремительном поэтическом росте Вагинова — видимо, сказались и уроки Гумилева. Пропали юношеские восклицания и придыхания — эта квазидинамика, на деле тормозящая движение стиха; появилось спокойствие остранения и вместе с тем — весьма оригинальное «лирическое я»:

> Мои слегка потрескивают ноги, Звенят глаза браслетами в ночи, И весь иду здоровый и убогий, Где ломаные млеют кирпичи.

1 Таково название статьи А.Селивановского с критикой творчества Вагинова // Селивановский А. В литературных боях. М., 1930.

2 Указ. соч. С. 125-126. Ср. в автобиографии Н.Тихонова (Приложение).

3 Вышли три номера: первый в октябре 1922 г. под ред. О.Тизенгаузена «и при ближайшем участии» М.Кузмина и А.Радловой; второй — в ноябре 1922 и третий в феврале 1923 г. — под редакцией двоих последних. Название сборнику дал М.Кузмин: Абраксас у гностиков — верховное космологическое существо.

4 Оба произведения впервые републикованы Т.Никольской в «Литературном обозрении», 1989, № 1.

В 1923 г. Вагинов женился на Александре Ивановне Федоровой, в том же году поступил на Высшие курсы искусствоведения при Государственном институте истории искусств, где учился до 1926 г.[1] Среди предметов, преподававшихся там, были и весьма, на сегодняшний взгляд, экзотические — такие, например, как нумизматика, история танца; случалось, профессор читал лекцию одному-единственному студенту. В эти годы Вагинов печатается в разных журналах и альманахах (историю некоторых из них читатель найдет в примечаниях), составляет сборник «Петербургские ночи» (который, однако, не был издан), пишет поэму, известную под названием «1925 год», и многие стихотворения, которые, пожалуй, можно назвать программными — о непостижимой природе творчества, о трагической несовместимости поэта с миром.

Обретя семейный очаг на задворках метафизически разрушенного, «уплотненного» чужими людьми дома своего детства, он страстно увлекся собиранием книг, — для этого занятия тогдашнее время было поистине уникальным. На книжных развалах двадцатых годов распродавались обломки роскошных библиотек, где редчайшие издания можно было купить за бесценок, а бывало, и на вес. По свидетельству Л.Борисова, Вагинов собирал книги по своему особенному принципу, отыскивая «какую-нибудь чепушинку, диковинку», порой такого автора, о котором он сам впервые слышал: «Надо же посмотреть, в чем тут дело»[2]. Старые книги, с их особым запахом, прочно вошли в стихи и прозу Вагинова. Круг чтения его героев удивителен. В «Козлиной песни» читают Каллимаха и Шатобриана, Гонгору и Марино, Петрарку и Полициано, Бартелеми и Фракасторо. На полках у писателя Свистонова — «тоненькие брошюрки, изданные графоманами, философские книги с кондачка, написанные актерами <...> Кулинарные книги, лечебники, книги, посвященные давно уже не существующим танцам, карточным играм», рядом — Гоголь, Данте, Гомер, Вергилий, «итальянские книжки шестнадцатого столетия». Среди книг, с которыми не расстается в своих странствиях Евгений Фелинфлеин из «Бамбочады», — проповеди Массильона и «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, сочинения алхимика Борри и томик Кребильона-сына[3]. Были эти книги и в вагиновской домашней библиотеке, насчитывавшей более 2000 томов. Потом, по словам А.И.Вагиновой, все это распродал сосед — солдат, вернувшийся в ленинградскую квартиру раньше эвакуированных в конце блокады хозяев. Читал Вагинов на разных языках, в том числе на латыни, греческом, старофранцузском, итальянском...

> В моей библиотеке позлащенной Слежу за хороводами народов И между строк прочитываю книги, Халдейскою наукой увлечен.

1 Справедливости ради, отметим, что А.Г.Островский, учившийся на этих курсах в те же годы, в письме к автору этих строк отрицал факт обучения там Вагинова, с которым был знаком.

2 Борисов Л. Цит. соч. С. 88-89.

3 Подробно о библиофильстве Вагинова и его героев см.: Блюм А., Мартынов И. Петроградские библиофилы: По страницам сатирических романов Константина Вагинова // Альманах библиофила. 1977. Вып. 4.

Литературная ситуация тем временем менялась. 18 июня 1925 г. была принята резолюция ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы». Многие вольности, ранее разрешенные, отныне пресекались.

До поры, однако, ситуация в Ленинграде оставалась несколько более свободной, чем в Москве. Стихи Вагинова продолжали публиковаться в альманахах и коллективных сборниках — таких, как «Ковш» (1925-1926), «Собрание стихотворений Л/ОВСП» (1926), «Костер» (1927), «Ларь» (1927). Авторы в них уже не объединялись по признаку творческой близости, в составлении преобладала эклектика — критик оценил это как «здоровый компромисс»[1].

В 1926 г. вышла вторая книга стихов Вагинова, хлопоты по изданию которой взял на себя поэт М.Фроман (см. воспоминания И.Наппельбаум — в Приложении). Тираж ее ненамного превысил тираж «Путешествия в хаос» — всего 500 экземпляров. В своей статье «Вагинов», опубликованной лишь недавно, Б.Бухштаб писал, что в близких поэту литературных кругах этот сборник принят как одно из наиболее заметных явлений года, но критиками, представляющими массового читателя, он не замечен: «Будущий историк легко упустит его из виду, а если не упустит, — ему трудно будет представить эту книгу живой, почувствовать бывший в ней некогда смысл». Эта статья (в свое время любезно предоставленная нам Г.Г.Шаповаловой; см. Приложение) — по сути дела, единственная попытка современника взглянуть на стихи Вагинова в опоязовском ракурсе, определить их место в истории развития русского поэтического языка — не на уровне эмоций, отрицательных или положительных, а на уровне филологического исследования, которого они несомненно заслуживают и даже требуют (не случайно один из героев «Козлиной песни», явно соотносимый с самим автором, скажет о своих стихах, что это, может быть, вовсе и не стихи, а «нуждающийся в интерпретации специальный материал»). В конце этой статьи высказана примечательная мысль об иронии как организующем принципе вагиновского «косноязычия». «Ирония — трагическая забава», — вероятно, и есть та почва, на которой Вагинов сблизился с Д.Хармсом, А.Введенским, Н.Заболоцким и другими молодыми поэтами, тогда еще не придумавшими себе названия «обэриуты».

Принято говорить об отсутствии тесной творческой близости между Вагиновым и обэриутами. И все же определенная близость, несомненно, есть — то же сочетание несочетаемого, ироническое разрушение рутинного поэтического языка, основополагающее представление о реальной магии слова, магической реальности искусства. В примечаниях мы постарались отметить и некоторые частные случаи взаимовлияния Вагинова и обэриутов.

Явно навеян знакомством с этим кругом поэтов и такой диалог из «Козлиной песни»: « — Я поведу вас как-нибудь к настоящим заумникам. Вы увидите, как они из-под колпачков слов новый смысл вытягивают... — Это не те ли зеленые юноши в парчовых колпачках с кисточками, носящие странные фамилии?». Хармс, человек, носивший «странную фамилию», как известно, любил

1 Мейсельман А. (Рец. на:) Костер: Сборник стихов Ленинградского Союза поэтов... // Жизнь искусства. 1927. № 43. С. 17.

забавные шапочки, например, колпачок с кисточкой для заварного чайника.

24 января 1928 г. в Доме печати (бывшем Шуваловском особняке на Фонтанке) состоялся нашумевший вечер ОБЭРИУ «Три левых часа», оформленный весьма эксцентрично: Хармс выезжал на сцену на черном лакированном шкафу в той самой «золотистой шапочке с висюльками», Заболоцкий читал рядом с «фарлушкой» — предметом неизвестного происхождения и назначения, Бахтерев падал на спину, и его выносили при свечах. Последний пишет и об участии Вагинова в этом вечере: Б.Левин, руководивший театрализацией, предложил Вагинову выступить как обычно, без затей, но в то время, как он читал, в глубине сцены появилась балерина Милица Попова: «В пачках, на пуантах, она проделывала все, что и положено классической балерине. Вагинов продолжал читать как ни в чем не бывало. Возможно, в противовес остальным, в тот вечер его выступление пользовалось наибольшим успехом»[1]. Не имеет ли отношения к этому вечеру другой эпизод «Козлиной песни» — выступление известной поэтессы на вечере молодых безобразников, раскрашенных, гарцующих на трехколесном велосипеде, а из зала ей кричат: «Помилуйте, что вы с нами делаете?» Все-таки Вагинов, еще юношей прошедший тяжелые испытания, в том числе войну, и действительно многое потерявший, в свои двадцать семь лет чувствовал себя гораздо старше обэриутов, младшему из которых (тогда это был Бахтерев) не исполнилось еще и двадцати.

Несколько строк о Вагинове есть в так называемом обэриутском манифесте, напечатанном в «Афишах Дома печати» (1928, № 2) и ныне достаточно известном. Планировалось его участие и в первом из двух задуманных Хармсом сборников, где должны были объединиться произведения обэриутов и формалистов — в списке «Материал на первый сборник "Радикса"» (одно из ранних самоназваний будущих обэриутов) фигурируют стихи и проза Вагинова, а также статья о нем Бухштаба — очевидно, именно та, о которой шла речь выше. Список помещен в записной книжке Хармса (март 1927 г.). Ни этот, ни следующий проект, однако, не были осуществлены, и не по вине авторов.

К 1927 г. о Вагинове сложилось мнение как о малозаметном поэте для узкого круга рафинированных эстетов. Но его читателей ждал сюрприз. В журнале «Звезда» появились главы из его первого романа: в 1928 г. «Козлиная песнь» вышла в издательстве «Прибой». Из малозаметного поэта-эстета Вагинов вмиг превратился в скандально известного прозаика. Немалая часть литературного Ленинграда узнала себя в персонажах романа; вызывающим показался и тон автора, как бы не замечающего проблем, с которыми, как правило, носились тогдашние литераторы, обеспокоенные «перестройкой интеллигенции», — и строящего на том же «проблемном» материале свое, ни на что не похожее здание. «Много разговоров о «Козлиной песни» Вагинова, — записывал в те дни один из его знакомых. — <...> Герои списаны чуть ли не со всех

1 Бахтерев Игорь. Когда мы были молодыми // Воспоминания о Н.Заболоцком. М., 1984. С. 90-91. Ср.: Степанов Н. Из воспоминаний о Н.Заболоцком // Там же. С. 158-159.

ленинградских писателей и поэтов, начиная с Блока и Кузмина и кончая Лукницким. Интерес к книге, разумеется, обостренный, втихомолку подсмеиваются друг над другом. А Вагинов ходит со скромным видом великодушного победителя, делая лицо непойманного вора»[1]. Дополнительную ценность и прелесть придавало роману отсутствие авторской установки на скандал, портившей многие талантливые произведения той поры.

Рядом с прозой вагиновские стихи стали казаться ее подготовкой, репетицией. Такие характерные для них мотивы, как прорастание античности сквозь фон современного города, взаимоотношения автора со словами — капризными и своевольными живыми существами, любовь-ненависть к всепоглощающему искусству, — развернулись и обогатились, подвергшись в прозе ироническому остранению. За кулисами романа угадывалась драма превращения поэта в прозаика, начавшаяся именно с остранения:

> Я — часть себя. И страшно и пустынно. Я от себя свой образ отделил. Как листья скорчились и сжались мифы...

Главный герой «Козлиной песни», именуемый «неизвестным поэтом», — поэтическая ипостась самого Вагинова; в уста этого героя вложены, наверное, самые сокровенные прозрения Вагинова-поэта. «Поэзия — это особое занятие, — говорит он. — Страшное зрелище и опасное, возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью, все над сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами». Он ищет опьянения — «не как наслаждения, а как средства познания», думает «о необходимости заново образовать мир словом, о нисхождении во ад бессмыслицы, во ад диких и шумов и визгов, для нахождения новой мелодии мира»; «поэт должен быть <...> Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой — искусством <...> и, как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает». «Однажды он почувствовал, что солгали ему — и опьянение и сопоставление слов». Визионерские эксперименты на себе самом, при всей увлекательности, как мы знаем, — не очень-то надежный способ добычи поэзии, к тому же быстро истощает плодородную почву подсознания (так, быть может, исчерпал себя А.Рембо). Угасание ли поэтического дара вызвало потребность осмыслить творческий процесс, или же сам процесс осмысления сделал невозможным дальнейшее стихотворчество, разъяв его на составляющие, так что поэт уподобился той сороконожке из сказки, которая разучилась танцевать?

1 Басалаев И. Записки для себя. Тетрадь 2-я. 1928 г. (архив И.М.Наппельбаум) // Цит. по: Никольская Т. ЧТЧ. С. 75. Там же читаем, что сам Вагинов «советовал читателям сопоставлять книгу с другими литературными произведениями, а не с живыми людьми».

Так или иначе, Вагинов вложил в руку «неизвестного поэта» пистолет, чтобы тот приставил его к виску и спустил курок. Так было покончено с прекрасными иллюзиями вагиновской юности — не случайно в предисловии автор называет роман «гробиком» двадцати семи годам своей жизни. В финале романа нет отчаяния — напротив, он оставляет впечатление освобождения и полета, торжества высокого искусства. Поэт умер, да здравствует поэт!

Стоит ли говорить о том, как роман был воспринят критикой? Рецензенты, за исключением, пожалуй, одного (И.Сергиевского в «Новом мире»), накинулись на роман с обвинениями в «гробокопательстве» и безнравственности, асоциальности и кастовости, а пуще всего — в отрыве от современности. Все эти ярлыки преследовали писателя и позже, когда с небольшими промежутками вышли в свет его «Труды и дни Свистонова» — роман о писателе, который пишет роман о писателе, который пишет роман о писателе... — и «Бамбочада» — может быть, вершина всего написанного Вагиновым, прекрасная, насмешливая и трогательная история легкомысленного юноши, обреченного на прощание с жизнью.

В эти годы (1929-1931) поэзия, кажется, отходит для Вагинова на второй план, главенствует проза. Ей он отдает все свое время, все силы — а они катастрофически тают: открылся туберкулез (так что тема «Бамбочады» — не плод досужего вымысла). В 1931 г., однако, вышел еще один сборник его стихов, наиболее полный из прижизненных, получивший название «Опыты соединения слов посредством ритма», вышел в том же Издательстве писателей в Ленинграде, что и два последних романа. Там Вагинова любили и, по свидетельству Александры Ивановны, при участии самого автора коллективно составили предисловие к сборнику, призванное как-то оградить его от нападок критики. Наивно, однако, было предполагать, что подобное предисловие может послужить щитом, отражающим критические стрелы. К 1931 г. критика обзавелась уже тяжелой артиллерией, с помощью которой ничего не стоило разнести в клочья и щит, и того, кого он загораживал. Вскоре после выхода книги тяжелую артиллерию выкатил ленинградский критик С.Малахов, избравший «Опыты» и их автора основной мишенью своего доклада «Лирика как орудие классовой борьбы», прочитанного на одной из «творческих дискуссий». (Основные положения этого доклада, а также ответ Вагинова, помещенный в отчете о ходе «творческой дискуссии», можно прочитать в Приложении). Добавить к этому стоит лишь одну деталь: в письме от 20.01.89 г., отвечая на вопрос автора этих строк о подробностях того заседания, один из старейших ленинградских литераторов А.Г.Островский писал: «С С.Малаховым я познакомился через добрых 15 лет — по его возвращении из ссылки. <...> Но он уже ничего не помнил... кроме массы стихов, которые сохранила его память». Каратель от литературы, тайно влюбленный в творчество своих жертв, — какой характерный тип эпохи!

Ни роман «Гарпагониана», ни книга стихов «Звукоподобия» опубликованы не были. На литературу наступили тридцатые годы. Вагинов участвовал в подготовке коллективных сочинений по истории ленинградских заводов, вел занятия в заводской литстудии (об этом сохранились воспоминания). И в стихах, и в прозе этого периода — какая-то усталость, вялость, слово словно бы истекло кровью. Читавшие «Монастырь Господа нашего Аполлона» помнят,

какой монетой платила братия за приобщение к высокому искусству, принося в жертву ненасытному Аполлону свою плоть и кровь. Вагинов оказался пророком, судьба поняла его слишком буквально.

«Звукоподобия» — как будто тени стихотворений, это чувствовал и сам поэт, не случайно одна из главных тем — копии и слепки, подражанья, имитирующие любовь и молодость. Правда, лучшие из стихов тех лет обязаны своей болезненной прелестью именно этой бескровности, бледности, ни во что не рядящейся простоте:

Промозглый Питер легким и простым Ему в ту пору
показался. Под солнцем сладостным, под небом голубым
Он весь в прозрачности купался...

Предсмертная улыбка освобождения. Пребывание в одном из южных санаториев оказалось губительным; истекая кровью, Вагинов бежал в Ленинград и там в марте 1934 года — умер.

А.Герасимова
1989-1994

I. СТИХИ 1919-1923 гг.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ХАОС

* * *

Седой табун из вихревых степей
Промчался, все круша и руша.
И серый мох покрыл стада камней.
Травой зеленой всходят наши души.

Жуют траву стада камней.
В ночи я слышу шорох жуткий,
И при большой оранжевой луне
Уходят в камни наши души.

* * *

Еще зари оранжевое ржанье
Ерусалимских стен не потрясло,
Лицо Иоконоанна — белый камень
Цветами зелени и глины поросло.

И голова моя качается как череп
У окон сизых, у пустых домов
И в пустыри открыты двери,
Где щебень, вихрь, круженье облаков.

* * *

Под пегим городом заря играла в трубы,
И камышами одичалый челн пророс.
В полуоткрытые заоблачные губы
Тянулся месяц с сетью желтых кос.

И завывал над бездной человек нечело́вечьи
И ударял в стада сырых камней,
И выходили души на откос Кузнечный
И хаос резали при призрачном огне.

Пустую колыбель над сумеречным миром
Качает желтого Иосифа жена.
Ползут туманы в розовые дыры
И тленье поднимается из ран.

* * *

Бегут туманы в розовые дыры,
И золоченых статуй в них мелькает блик,
Маяк давно ослеп над нашею квартирой,
За бахромой ресниц — истлевшие угли.

Арап! Сдавай скорее карты!
Нам каждому приходится ночной кусок,
Заря уже давно в окне покашливает
И выставляет солнечный сосок.

Сосите, мол, и уходите в камни
Вы что-то засиделись за столом,
И, в погремушках вся, Мария в ресторане
О сумасшедшем сыне думает своем.

* * *

Надел Исус колпак дурацкий,
Озера сохли глаз Его,
И с ликом, вывшим из акаций,
Совокупился лик Его.

Кусает солнце холм покатый,
В крови листва, в крови песок...
И бродят овцы между статуй,
Носами тычут в пальцы ног.

* * *

Вихрь, бей по Лире,
Лира, волком вой,
Хаос все шире, шире...
Господи! Упокой.

* * *

Набухнут бубны звезд над нами,
Бубновой дамой выйдет ночь,

И над великим рестораном
Прольет багряное вино.

И ты себя как горсть червонцев
Как тонкий мех индийских коз
Отдашь в ее глухое лоно
И там задремлешь глубоко.

Прильни овалом губ холодных
Последний раз к перстам чужим
И в человеческих ладонях
Почувствуй трепетанье ржи.

Твой дом окном глядит в пространство,
Сырого лона запах в нем,
Как Финикия в вечность канет
Его Арийское веретено.

* * *

Уж сизый дым влетает в окна,
Простертый на диване труп
Все ищет взорами волокна
Хрустальных дней разъятую игру.

И тихий свет над колыбелью,
Когда рождался отошедший мир,
Тогда еще Авроры трубы пели
И у бубновой дамы не было восьми.

* * *

Тает маятник, умолкает
И останавливаются часы.
Хаос — арап с глухих окраин
Карты держит, как человеческий сын.

Сдал бубновую даму и доволен,
Даже нет желанья играть,
И хрустальный звон колоколен
Бежит к колокольням вспять.

ОСТРОВА

1919

* *

О, удалимся на острова Вырождений,
Построим хрустальные замки снов,
Поставим тигров и львов на ступенях,
Будем следить теченье облаков.

Пусть звучит музыка в узорных беседках,
Звуки скрипок среди аллей,
Пусть поют птицы в золоченых клетках,
Будут наши лица лилий белей.

Будем в садах устраивать маскарады,
Песни петь и стихи слагать,
Будем печалью тихою рады,
Будем протяжно произносить слова.

Голосом надтреснутым говорить о Боге,
О больном одиноком Паяце,
У него сияет месяц двурогий,
Месяц двурогий на его венце.

Тихо, тихо качается небо,
С тихими бубенцами Его колпак,
Мы только атомы его тела,
Такие же части, как деревьев толпа.

Такие части, как кирпич и трубы,
Ничем не лучше забытых мостов над рекой,
В своей печали не будем мы грубы,
Не будем руки ломать с тоской.

Мы будем покорно звенеть бубенцами,
На островах Вырождений одиноко жить,
Чтоб не смутить своими голосами
Людей румяных в колосьях ржи.

* *

Как нежен запах твоих ладоней,
Морем и солнцем пахнут они,
Колокольным тихим звоном полный
Ладоней корабль бортами звенит.

Твои предки возили пряности с Явы,
С голубых островов горячих морей.
Помнишь, осколок якоря ржавый
Хранится в узорной шкатулке твоей?

Там же лежат венецианские бусы
И золотые монеты с Марком святым...
Умер корабль, исчезли матросы,
Волны не бьются в его борты.

Он стал призраком твоих ладоней,
Бросил якорь в твоей крови,
И погребальным звоном полны
Маленькие нежные руки твои.

* *

Сегодня — дыры, не зрачки у глаз,
Как холоден твой лик, проплаканы ресницы,
Вдали опять адмиралтейская игла
Заблещет, блещет в утренней зарнице.

И может быть, ночной огромный крик
Был только маревом на обулыжненном болоте,
И стая не слетится черных птиц,
И будем слышать мы орлиный клекот...

НА НАБЕРЕЖНОЙ

Как бедр твоих волнует острие.
Еще распущены девические косы,
Когда зубов белеющих копье
Пронзает губы алые матросов.

На набережных, где снуют они,
С застывшей солью на открытых блузах,
Ты часто смотришь на пурпурные огни
На черных стран цветные грузы.

В твоей руке колода старых карт,
Закат горит последними углями,
Индийских гор зеленая река
Уснет в тебе под нашими снегами.

И может быть сегодня в эту ночь
Услышу я ее больные зовы,
Когда от кораблей пойдем мы прочь
В ворота под фонарь багровый.

* *

В старинных запахах, где золото и бархат
В бассейнах томности ласкают ноздри вам,
Растут левкои белые у золоченых арок,
И море пурпуром сжимает берега.

Среди жеманных, еле слышных звуков,
Там жизнь течет подобно сладким снам.
Какой-то паж целует нежно руки
И розы тянутся к эмалевым губам.

В квадрат очерчены цветочные аллеи,
В овалы налиты прохладные пруды,
И очертание луны серпом белеет
На зеркалах мерцающих воды.

В старинных запахах, где золото и бархат
В бассейнах томности ласкают ноздри вам,
Вы встретите себя у золоченых арок
Держащей белого козленка за рога.

* *

Луна, как глаз, налилась кровью,
Повисла шаром в темноте небес,
И воздух испещрен мычанием коровьим,
И волчьим завываньем полон лес.

И старый шут горбатый и зеленый
Из царских комнат прибежал к реке
И телом обезьянки обнаженным
Грозил кому-то в небесах в тоске.

И наверху, где плачут серафимы,
Звенели колокольцы колпака,
И старый Бог, огромный и незримый,
Спектакль смотрел больного червяка.

И шут упал, и ангелы молились,
Заплаканные ангелы у трона Паяца,
И он в сиянье золотистой пыли
Смеялся резким звоном бубенца.

И век за веком плыл своей орбитой,
Родились юноши с печалью вместо глаз,
С душою обезьянки, у реки убитой,
И с той поры идет о Паяце рассказ.

* *

Есть странные ковры, где линии неясны,
Где краски прихотливы и нежны,
Персидский кот, целуя вашу грудь прекрасную,
Напоминает мне под южным небом сны.

Цветы свой аромат дарят прохладе ночи,
Дарите ласки Вы персидскому коту,
Зеленый изумруд — его живые очи,
Зеленый изумруд баюкает мечту.

Быть может, это принц из сказки грезы лунной,
Быть может, он в кафтан волшебный облачен,
Звучат для Вас любви восточной струны,
И принц персидский Вами увлечен.

Луна звучит, луна поет Вам серенаду,
Вам солнца ненавистен яркий свет,
Средь винных чар, средь гроздий виноградных
Ваш принц в волшебный мех одет.

Ковры персидские всегда всегда неясны,
Ковры персидские всегда всегда нежны.
Персидский принц иль кот? — Любовь всегда прекрасна.
Мы подчиняемся влиянию луны.

КАФЕ В ПЕРЕУЛКЕ

Есть странные кафе, где лица слишком бледны,
Где взоры странны, губы же ярки,
Где посетители походкою неверной
Обходят столики, смотря на потолки.

Они оборваны, движенья их нелепы,
Зрачки расширены из бегающих глаз,
И потолки их давят точно стены склепа,
Светильня грустная для них фонарный газ.

Один в углу сидит и шевелит губами:
«Я новый бог, пришел, чтоб этот мир спасти,
Сказать, что солнце в нас, что солнце не над нами,
Что каждый — бог, что в каждом — все пути,

Что в каждом — города, и рощи, и долины,
Что в каждом существе — и реки, и моря,
Высокие хребты, и горные низины,
Прозрачные ручьи, что золотит заря.

О, мир весь в нас, мы сами — боги,
В себе построили из камня города
И насадили травы, провели дороги,
И путешествуем в себе мы целые года...»

Но вот умолкла скрипка на эстраде
И новый бог лепечет — это только сон,
И муха плавает в шипучем лимонаде,
И неуверенно к дверям подходит он.

На улице стоит поэт чугунный,
В саду играет в мячик детвора,
И в небосклон далекий и лазурный
Пускает мальчик два шара.

Есть странные кафе, где лица слишком бледны,
Где взоры странны, губы же ярки;
Там посетители походкою неверной
Обходят столики, смотря на потолки.

1921

---

* * *

Мы здесь вдали от сугробов,
От снежных метелей твоих,
Такого веселья попробуйте!
Но нет нам путей других.

Оторванный ком не вернется,
Хотя бы ветер попутный был,
Он только отчаянно бьется,
Растает, как дыма клубы.

Ничего, Иван, приготовьте
Мне сегодня новый фрак.
Почисти хорошенько локоть,
— А как здоровье собак?

А там далеко в сугробах,
Голодная, в корчах родов,
Россия колотится в гробе
Среди деревень, городов.

* * *

На палубах Летучего Голландца
Так много появилось крыс...
И старый капитан, обрызганный багрянцем,
Напрасно вспоминал ветры...

И в капище у белой дьяволицы
С рогами и младенцем на руках,
Напрасно костяки молились,
Напрасно светилась во впадинах тоска...

На пальцах высохших сверкали изумруды,
И грызли призрачные ноги стаи крыс,
И кости издавали запах трупный,
И были кости от прожорливых мокры...

А там... на розовых архипелагах...
Средь негров с первобытным запахом зверей
Потомков развевались флаги.
Вставало солнце на усеченной горе...

Февраль 1921

* * *

Умолкнет ли проклятая шарманка?
И скоро ль в розах, белых и пречистых,
Наш милый брат среди дорог лучистых
Пройдет с сестрою нашей обезьянкой?

Не знаю я... Пути Господни — святы,
В телах же наших — бубенцы, не души.
Стенать я буду с каждым годом глуше:
Я так люблю Спасителя стигматы!

И через год не оскорблю ни ветра,
Ни в поле рожь, ни в доме водоема,
Ни сердца девушки знакомой,
Ни светлого, классического метра...

ПЕТЕРБУРЖЦЫ

Мы хмурые гости на чуждом Урале,
Мы вновь повернули тяжелые лиры свои:
Эх, Цезарь безносый всея Азиатской России
В Кремле Белокаменном с сытой сермягой, внемли.

Юродивых дом ты построил в стране белопушной
Под взвизги, под взлеты, под хохот кумачных знамен,
Земля не обильна, земля неугодна,
Земля не нужна никому.

Мы помним наш город, Неву голубую,
Медвяное солнце, залив облаков,
Мы помним Петрополь и синие волны,
Балтийские волны и звон площадей.

Под нами храпят широкие кони,
А рядом мордва, черемисы и снег.
И мертвые степи, где лихо летают знамена,
Где пращуры встали, блестя, монгольской страны.

* * *

За осоку, за лед, за снега,
В тихий дом позвала, где звенели стаканы.
И опять голубая в гранитах река
И сквозные дома и реянье ночи.

Эй, горбатый, тебя не исправит могила.
Голубую Неву и сквозные дома
И ступени, где крысы грохочут хвостами,
В тихий дом ты привел за собой.

* * *

Вечером желтым как зрелый колос
Средь случайных дорожных берез
Цыганенок плакал голый
Вспоминал он имя свое

Но не мог никак он вспомнить
Кто, откуда, зачем он здесь
Слышал матери шепот любовный
Но не видел ее нигде.

На дороге воробьи чирикают
Чирик, чирик и по дороге скок
И девушки уносят землянику
Но завтра солнце озарит восток.

16 мая 1921

ПЕТЕРБУРГСКИЕ НОЧИ

* * *

Перевернул глаза и осмотрелся:
Внутри меня такой же черный снег,
Сутулая спина бескрылой птицей бьется,
В груди моей дрожит и липнет свет.

И, освещенный весь, иду я в дом знакомый
И, грудью плоскою облокотясь о стол,
Я ритмы меряю, выслушиваю звоны,
И муза голая мне руку подает.

I

* * *

В твоих глазах опять затрепетали крылья
Кораблей умерших голубые паруса
Может быть, новые острова открыли
Может быть к новым стремятся небесам.

Или в трюмах проснулись невольники
Зачарованные Призраком в шутовском колпаке
Руки протягивают и смотрят в волны
Розовое солнце качается вдалеке.

Или птицы запели на мачтах
На соленых канатах обезьянка сидит
Сидит цветная и играет мячиком
Розовым солнцем на маленькой груди.

Сегодня сильный мороз на улице
Твои ножки озябли, ближе к огню садись
Кораблей умерших паруса не раздулись
Никаких островов не видно впереди

* * *

В глазах арапа ночь и горы
Скользит холодный скользкий Стикс
И вихрь бьет из глаз упорный
Фонтаны, статуи, кусты.

И этот вечер благовонный
Уже вдыхать я не смогу
Но буду помнить я балконы
Озер зеленых шелковистый гул.

* * *

У милых ног венецианских статуй
Проплакать ночь, проплакать до утра
И выйти на Неву в туман, туман косматый,
Где ветер ржет, и бьет, и скачет у костра.

Табун, табун ветров копытами затопчет
Мой малый дом, мой тихий Петербург,
И Летний сад, и липовые почки,
И залетевшую со Стрелки стрекозу.

* * *

Перевернутся звезды в небе падшем
И вихрь дождем мне окропит глаза
Уйду я черною овцой на пашни
Где наш когда-то высился вокзал

Деревья ветви в лиру сложат
Я носом ткну и в ночь уйду
И ветер лиры звон умножит
Последний звон в моем саду.

* * *

В воздух желтый бросят осины
Запах смолы и серого мха
Выйдет девушка в поле синее
Кинет сердце в песчаный ухаб

А в подвале за розовой шторой
Грешное небо держа в руке
Белый юноша с арапом спорит
Черным арапом в фригийском колпаке.

* * *

Грешное небо с звездой Вифлеемскою
Милое, милое баю, бай.

Синим осколком в руках задремлешь
Белых и нежных девичьих гробах.

Умерла Восточная звезда сегодня
Знаешь, прохожая у синих ворот
Ветер идет дорогой Новогодней
Ветер в глазах твоих поет.

II

* * *

Синий, синий ветер в теле
В пальцах моих снега идут.
Сердце холодный серп метелей
Мертвая Луна в Господнем саду

Друг засвети скорей лампадку
И читай вслух Евангелие.
Пахнет трупом ночная прохлада
Тихо.

* * *

Пусть сырою стала душа моя
Пусть земным языком в теле бродит.
Ветер убил и смял
Розы в моем огороде

Но еще встал на заре
Но еще вдыхаю запах солнца
Вчерашнее солнце в большой дыре
Кончилось

* * *

С Антиохией в пальце шел по улице,
Не видел Летний сад, но видел водоем,
Под сикоморой конь и всадник мылятся,
И пот скользит в луче густом.

Припал к ногам, целуя взгляд Гекаты,
Достал немного благовоний и тоски.
Арап ждет рядом черный и покатый
И вынимает город из моей руки.

* * *

Намылил сердце — пусть не больно будет
Поцеловал окно и трупом лег
В руках моих Песнь Песней бродит
О виноградной смуглости поет.

Еще есть жемчуга у черного Цейлона
В Таити девушки желтее янтаря
Но ветер за окном рекламу бьет и стонет
Зовет тонуть в ночных морях.

В соседнем доме свет зажгли вечерний
Еще не верят в гибель синих дней
Но друг мой лижет руки нервно
И слушает как умолкает сад во мгле.

* * *

Снова утро. Снова кусок зари на бумаге.
Только сердце не бьется. По-видимому, устало.
Совсем не бьется... даже испугался
Упал.

Стол направо — дышит, стул налево — дышит.
Смешно! а я не смеюсь.
Успокоился.

* * *

Бегает по полю ночь.
Никак не может в землю уйти.
Напрягает ветви дуб
Последним сладострастьем.

А я сижу с куском Рима в левой ноге.
Никак ее не согнуть.
Господи!

III

* * *

В.Л.

Каждый палец мой — умерший город
А ладонь океан тоски
Может поэтому так мне дороги
Руки твои.

* * *

В соленых жемчугах спокойно ходит море —
Пустая колыбель! Фонарь дрожит в руке...
Снега в глазах но я иду дозором,
О, как давно следов нет на песке.

Уснуть бы здесь умершими морями.
Застывший гребень городов вдыхать.
И помнить, что за жемчугом над нами
Другой исчезнул мир средь зелени и мха.

Возлюбленная пой о нашем синем доме
Вдыхай леса и шелести травой
Ты помнишь ли костры на площади огромной,
Где мы сидели долго в белизне ночной.

* * *

Спит в ресницах твоих золоченых
Мой старинный умерший сад,
За окном моим ходят волны,
Бури свист и звезд голоса,

Но в ресницах твоих прохлада,
Тихий веер и шелест звезд.
Ничего, что побит градом
За окном огород из роз.

* * *

В.Л.

Упала ночь в твои ресницы,
Который день мы стережем любовь;
Антиохия спит, и синий дым клубится
Среди цветных умерших берегов.

Орфей был человеком, я же сизым дымом.
Курчавой ночью тяжела любовь, —
Не устеречь ее. Огонь неугасимый
Горит от этих мертвых берегов.

* * *

Покрыл, прикрыл и вновь покрыл собою
Небесный океан наш томный, синий сад,
Но так же нежны у тебя ладони,
Но так же шелестят земные небеса.

Любовь томит меня огромной, знойной птицей,
Вдыхать смогу ль я запах милых рук?
Напрасно машут вновь твои ресницы,
Один останусь с птицей на ветру.

* * *

Опять у окон зов Мадагаскара,
Огромной птицей солнце вдаль летит,
Хожу один с зефиром у базара,
Смешно и страшно нам без солнца жить.

Как странен лет протяжных стран Европы,
Как страшен стук огромных звезд,
Но по плечу меня прохожий хлопнул —
Худой, больной и желтый, как Христос.

* * *

Камин горит на площади огромной
И греет девушка свой побледневший лик.
Она бредет еврейкою бездомной,
И рядом с нею шествует старик.

Луна, как червь, мой подоконник точит.
Сырой табун взрывая пыль летит
Кровавый вихрь в ее глазах клокочет.
И кипарисный крест в ее груди лежит.

* * *

Один бреду среди рогов Урала,
Гул городов умолк в груди моей,

Чернеют косы на плечах усталых, —
Не отрекусь от гибели своей.

Давно ли ты, возлюбленная, пела,
Браслеты кораблей касались островов,
Но вот один оплакиваю тело,
Но вот один бреду среди снегов.

IV

* * *

В нагорных горнах гул и гул, и гром,
Сквозь груды гор во Мцхетах свечи светят,
Под облачным и пуховым ковром
Глухую бурю, свист и взвизги слышишь?

О, та же гибель и для нас, мой друг,
О так же наш мохнатый дом потонет.
В широкой комнате, где книги и ковры,
Зеленой лампы свет уже не вздрогнет.

* * *

И умер он не при луне червонной,
Не в тонких пальцах золотых дорог,
Но там, где ходит сумрак желтый,
У деревянных и хрустящих гор.

Огонь дрожал над девой в сарафане
И ветер рвал кусок луны в окне,
А он все ждал, что шар плясать устанет,
Что все покроет мертвый белый снег.

Крутись же, карусель, над синею дорогой,
Подсолнечное семя осыпай,
Пусть спит под ним тяжелый, блудный город,
Души моей старинный, черный рай.

* * *

Я встал пошатываясь и пошел по стенке
А Аполлон за мной, как тень скользит
Такой худой и с головою хлипкой
И так протяжно, нежно говорит:

«Мой друг, зачем ты взял кусок Эллады,
Зачем в гробу тревожишь тень мою!»
Забился я под злобным жестким взглядом
Проснулся раненый с сухой землей во рту.

Ни семени ни шелкового зуда
Не для любви пришел я в этот мир
Мой милый друг, вдави глаза плечами
И обверни меня изгибом плеч твоих.

* * *

Палец мой сияет звездой Вифлеема
В нем раскинулся сад, и ручей благовонный звенит,
И вошел Иисус, и под смоквой плакучею дремлет
И на эллинской лире унылые песни твердит.

Обошел осторожно я дом, обреченный паденью,
Отошел на двенадцать неровных, негулких шагов
И пошел по Сенной слушать звездное тленье
Над застывшей водой чернокудрых снегов.

* * *

Чернеет ночь в моей руке подъятой,
Душа повисла шаром на губах;
А лодка все бежит во ржи зеленоватой,
Пропахло рожью солнце в облаках.

Что делать мне с моим умершим телом,
Зачем несусь я снова на восход;
Костер горел и были волны белы,
Зачем же дверь опять меня зовет?

Бреду по жести крыш и по оконным рамам,
Знакомый запах гнили и болот.
Ходил другой с своею вечной дамой,
Ходил внизу и целовал ей рот.

* * *

Темнеет море и плывет корабль
От сердца к горлу сквозь дожди и вьюгу
Но нет пути и пухнут якоря
Горячим сургучом остекленели губы

Их не разъять не выпустить корабль
Матросы в шубах 3-й день не ели
Напрасно всходит глаз моих заря
Напрасно пальцы бродят по свирели

V

* * *

Вышел на Карповку звезды считать
И аршином Оглы широкую осень измерить
Я в тюбетейке на мне арестантский бушлат
А за спиной Луны перевитые песни.

Друг мой студентом живет в малой Эстонской стране
Взял балалайку рукой безобразной
Тихо выводит и ноет и ночи поет
И мигает затянутым пленкою глазом.

Знаю там девушки с тающей грудью как воск
Знаю там солнце еще разудалой и милой Киприды
Но этот вечер холодный тяжелый как лед
Перс мой товарищ и лейтенант Атлантиды

Перс не поймет только грустно станет ему
Вспомнит он сад и сермяжные волжские годы
И лейтенант вскинет глаза в темноту
И услышит в домах голоса полосатого моря

* * *

Прохожий обернулся и качнулся
Над ухом слышит он далекий шум дубрав
И моря плеск и рокот струнной славы
Вдыхает запах слив и трав.

«Почудилось, наверное, почудилось!
Асфальт размяк, нагрело солнце плешь!»
Я в капоре иду мои седые кудри
Белей зари и холодней чем снег.

* * *

Ты догорело солнце золотое
И я стою свечою восковой

От пирамид к декабрьскому покою
Летит закат гробницей ледяной

Ко мне старик теперь заходит непрестанно
Он механичен разукрашен и певуч.
Но в сундуке его былой зари румянец
Широкий храм и пара белых туч.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗВЕЗДОЧЕТ

I

Дыханьем Ливии наполнен Финский берег.
Бреду один средь стогнов золотых.
Со мною шла чернее ночи Мэри,
С волною губ во впадинах пустых.
В моем плече тяжелый ветер дышит,
В моих глазах готовит ложе ночь.
На небе пятый день Румяный Нищий ищет,
Куда ушла его земная дочь.
Но вот двурогий глаз повис на небе чистом,
И в каждой комнате проснулся звездочет.
Мой сумасшедший друг луну из монтекристо,
Как скрипку отзвеневшую, убьет.

II

В последний раз дотронуться до облаков поющих,
Пусть с потолка тяжелый снег идет,
Под хриплой кущей бархатистых кружев
Рыбак седой седую песнь прядет.
Прядет ли он долины Иудеи
Иль дом крылатый на брегах Невы,
В груди моей старинный ветер рдеет,
Качается и ходит в ней ковыль.
Но он сегодня вышел на дорогу,
И с девушкой пошел в мохнатый кабачок.
Он как живой, но ты его не трогай,
Он ходит с ней по крышам широко.
Шумит и воет в ветре Гала-Петер
И девушка в фруктовой слышит струны арф,
И Звездочет опять прядет в своей карете
И над Невой клубится синий звездный пар.
Затем над ним, подъемля крест червонный,
Качая ризой над цветным ковром,

Священник скажет: — Умер раб Господний, —
Иван Петров лежит в гробу простом.

III

Мой дом двурогий дремлет на Эрмоне
Псалмы Давида, мята и покой.
Но Аполлон в столовой ждет и ходит
Такой безглазый, бледный и родной.

IV

Рябит рябины хруст под тонкой коркой неба,
А под глазами хруст покрытых пледом плеч,
А на руке браслет, а на коленях требник,
На голове чалма. О, если бы уснуть!
А Звездочет стоит безглазый и холодный,
Он выпил кровь мою, но не порозовел,
А для меня лишь бром, затем приют Господень —
Четыре стороны в глазете на столе.

VI

* * *

У каждого во рту нога его соседа,
А степь сияет. Летний вечер тих.
Я в мертвом поезде на Север еду, в город
Где солнце мертвое, как лед блестит.

Мой путь спокоен улеглись волненья
Не знаю, встретит мать? пожмет ли руку?
Я слышал, город мой стал иноком спокойным
Торгует свечками поклоны бьет

Да говорят еще, что корабли приходят
Теперь приходят когда город пуст
Вино и шелк из дальних стран привозят
И опьяняют мертвого и одевают в шелк.

Эх, кочегар, спеши, спеши на север!
Сегодня ночь ясна. Как пахнет трупом ночь!
Мы мертвые Иван, над нами всходит клевер
Немецкий колонист ворочает гумно.

* * *

Стали улицы узкими после грохота солнца
После ветра степей, после дыма станиц...
Только грек мне кивнул площадная брань в переулке,
Безволосая Лида бежит подбирая чулок.

Я боюсь твоих губ и во рту твоем язва.
Пролетели те ночи городской и небесной любви.
Теплый хлев, чернокудрая дремлет Марыся
Под жестоким бычьим полушубком моим.

* * *

Все же я люблю холодные жалкие звезды
И свою опухшую белую мать.
Неуют и под окнами кучи навоза
И траву и крапиву и чахло растущий салат.

Часто сижу во дворе и смотрю на кроличьи игры
Белая выйдет Луна воздух вечерний впивать
Из дому вытащу я шкуру облезлую тигра.
Лягу и стану траву, плечи подъемля, сосать.

Да, в обреченной стране самый я нежный и хилый
Братья мои кирпичи, Остров зеленый земля!
Мне все равно, что сегодня две унции хлеба
Город свой больше себя, больше спасенья люблю

* * *

Рыжеволосое солнце руки к тебе я подъемлю
Белые ранят лучи, не уходи я молю
А по досчатому полу мать моя белая ходит
Все говорит про Сибирь, про полянику и снег.

Я занавесил все окна, забил подушками двери
Над головой тишина, падает пепел как гром
Снова в дверях города и волнуются желтые Нивы
И раскосое солнце в небе протяжно поет.

ЮНОША

Помню последнюю ночь в доме покойного детства:
Книги разодраны, лампа лежит на полу.
В улицы я убежал, и медного солнца ресницы

Гулко упали в колкие плечи мои.
Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска.
В Польшу налет — и перелет на Восток.
О, как сияет китайское мертвое солнце!
Помню, о нем я мечтал в тихие ночи тоски.
Снова на родине я. Ем чечевичную кашу.
Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров.
Но не откроет мне дверь насурмленная Маша.
Стаи белых людей лошадь грызут при луне.

* * *

Сынам Невы не свергнуть ига власти,
И чернь крылатым идолом взойдет
Для Индии уснувшей, для Китая
Для черных стран не верящих в восход.

Вот я стою на торжищах Европы
В руках озера, города, леса
И слышу шум и конский топот
Гортанные и птичьи голоса.

Коль славен наш Господь в Сионе
Приявший ночь и мглу и муть
Для стран умерших сотворивший чудо
Вдохнувший солнце убиенным в грудь.

* * *

Нет, не люблю закат. Пойдемте дальше Лида,
В казарме умирает человек
Ты помнишь профиль нежный, голос лысый
Из перекошенных остекленелых губ

А на мосту теперь великолепная прохлада
Поскрипывает ветр и дышит Летний сад
А мне в Дерябинку вернуться надо.
Отдернул кисть и выслушал часы.

* * *

Отшельником живу, Екатерининский канал 105.
За окнами растет ромашка, клевер дикий,
Из-за разбитых каменных ворот
Я слышу Грузии, Азербайджана крики.

Из кукурузы хлеб, прогорклая вода.
Телесный храм разрушили.
В степях поет орда,
За красным знаменем летит она послушная.

Мне делать нечего пойду и помолюсь
И кипарисный крестик поцелую
Сегодня ты смердишь напропалую Русь
В Кремле твой Магомет по ступеням восходит

И на Кремле восходит Магомет Ульян:
«Иль иль Али, иль иль Али Рахман!»
И строятся полки, и снова вскачь
Зовут Китай поднять лихой кумач.

Мне ничего не надо: молод я
И горд своей душою неспокойной.
И вот смотрю закат, в котором жизнь моя,
Империи Великой и Просторной.

VII

* * *

Ты помнишь круглый дом и шорох экипажей?
Усни мой дом, усни...
Не задрожит рояль и путь иной указан
И белый голубь плавает над ним.

Среди домов щербатых кузов от рояля
Средь снежных гор неизреченный свет
И Гефсиманских бед мерцают снова пальмы,
Усни мой дом, усни на много лет.

* * *

И все же я простой как дуб среди Помпеи
Приди влюбленный с девушкой своей
Возьми кувшин с соленым, терпким зельем
И медленно глотками пей

И встанет мерный дом над черною водою
И утро сизое на ступенях церквей
И ты поймешь мою тоску и шелест
Среди чужих и Гефсиманских дней

* * *

Усталость в теле бродит плоскостями,
На каждой плоскости упавшая звезда.
Мой вырождающийся друг, двухпалый Митя,
Нас не омоет Новый Иордан.
И вспомнил Назарет и смуглого Исуса,
Кусок зари у Иудейских гор.
И пальцы круглые тяжелые как бусы
И твой обвернутый вкруг подбородка взор.
Мои слегка потрескивают ноги,
Звенят глаза браслетами в ночи,
И весь иду здоровый и убогий,
Где ломаные млеют кирпичи.
Погладил камень и сказал спокойно:
Спи, брат, не млей, к тщете не вожделей.
Творить себе кумир из человека недостойно,
Расти травой тысячелетних дней.

* * *

И все ж я не живой под кущей Аполлона
Где лавры тернием вошли в двадцатилетний лоб
Под бури гул, под чудный говор сада
Прикован я [к] Лирической скале.

Шумит ли горизонт иль ветр цветной приносит
К ногам моим осколки кораблей
Линяет кенарь золотая осень
Седой старик прикован ко скале.

* * *

И голый я стою среди снегов,
В пустых ветвях не бродит сок зеленый
А там лежит, исполненный тревог
Мой город мерный, звонкий и влюбленный

И так же ходит муза по ночам
Старуха в капоте с своей глухою лирой
И млеют юноши до пустоты плеча
О девушке нагой, тугой и милой.

* * *

Да быки крутолобые тонкорунные козы
Женщин разных не надо, Лиду я позабыл.
Знаю в Дельфах пророчили гибель Эллады
Может Эллада погибла, но я не погиб

Юноши в кольцах пришли звали на пир в Эритрею
Лидой меня соблазняли плачет, тоскует она...
Что же, пусть плачет найдет старика и забудет
Я молодой — крашеных жен не люблю.

Вера неси виноград, но зачем христианское имя?
Лучше Алкменою будь мы покорились судьбе.
Слышишь ликует Олимп, веселятся добрые Боги
Зевс Небожитель ссорится с Герой опять.

* * *

Слава тебе Аполлон, слава!
Сердце мое великой любовью полно
Вот я сижу молодой и рокочут дубравы
Зреют плоды наливные и день голосит!

Жизнь полюбил не страшны мне вино и отравы
День отойдет вечер спокойно стучит.
Слабым я был но теперь сильнее быка молодого
Девушка добрая тут, что же мне надо еще!

Пусть на хладных брегах взвизгах сырого заката
Город погибнет где был старцем беспомощным я
Снял я браслеты и кольца, не крашу больше ланиты
По вечерам слушаю пение муз.

Слава, тебе Аполлон слава!
Тот распятый теперь не придет
Если придет вынесу хлеба и сыра
Слабый такой пусть подкрепится дружок.

---

* * *

Под рожью спит спокойно лампа Аладина.
Пусть спит в земле спокойно старый мир.
Прошла неумолимая с косою длинной
Сейчас наверно около восьми.

Костер горит. Узлы я грею пальцев.
Сезам! Пусти обратно в старый мир,
Немного побродить в его высоком зале
И пересыпать вновь его лари.

Осины лист дрожит в лазури
И Соломонов Храм под морем синим спит.
Бредет осел корнями гор понурый,
Изба на курьих ножках жалобно скрипит.

В руке моей осколок римской башни,
В кармане горсть песка монастырей.
И ветер рядом ласково покашливает,
И входим мы в отворенную дверь.

* * *

Плывут в тарелке оттоманские фелюги
И по углам лари стоят.
И девушка над Баха фугой
Живет сто лет тому назад.

О, этот дом и я любил когда-то
И знал ее и руки целовал,
Смотрел сентиментальные закаты
И моря синего полуовал.

* * *

О, заверни в конфектную бумажку
Храм Соломона с светом желтых свеч.
Пусть ест его чиновник важно
И девушка с возлюбленным в траве.

Крылами сердце ударяет в клетке,
Спокойней, милое, довольно ныть,
Смотри, вот мальчик бродит с сеткой,
Смотри, вот девушка наполнена весны.

* * *

Я снял сапог и променял на звезды,
А звезды променял на ситцевый халат,
Как глуп и прост и беден путь Господний,
Я променял на перец шоколад.

Мой друг ушел и спит с осколком лиры,
Он все еще Эллады ловит вздох.
И чудится ему, что у истоков милых,
Склоняя лавр, возлюбленная ждет.

* * *

Сидит она торгуя на дороге,
Пройдет плевок, раскачивая котелком,
Я закурю махру, потряхивая ноги,
Глаза вздымая золотой волной.

И к странной девушке прижму свои ресницы,
И безобразную всю молодость свою,
И нас покроет синий звездный иней,
И стану девушкой, торгующей средь вьюг.

* * *

Прорезал грудь венецианской ночи кусок,
Текут в перстах огни свечей,
Широким знойным зеленым овсом
Звенит, дрожит меры ручей.

Распластанный, сплю и вижу сон:
Дрожат огни над игральным столом,
Мы в полумасках и домино
Глядим на бубны в небе ночном.

Наверно, гибель для нашей земли
Несет Бонапарт, о, прижмись тесней.
Луна сидит на алой мели.
На потолке квадраты теней.

Крестьянка в избе готовит обед,
На русской печи набухает пшено.
Сегодня солнце — красная медь,
Струится рожь и бьет в окно.

1922

НОЧЬ НА ЛИТЕЙНОМ

I

Любовь страшна не смертью поцелуя,
Но скитом яблочным, монашеской ольхой,
Что пронесутся в голосе любимой
С подщелкиваньем резким: «Упокой».
Давно легли рассеянные пальцы
На плечи детские и на бедро твое, —
И позабыл и волк, и волхв и лирник
Гортанный клекот лиры боевой.
Мой конь храпит и мраморами брызжет.
Не променяю жизнь на мрамор и гранит,
Пока в груди живое сердце дышит,
Пока во мне живая кровь поет.
Кует заря кибитку золотую,
Пегас, взорли кипящую любовь, —
Так говорю, и музу зрю нагую
В плаще дырявом и венке из роз.
Богоподобная, пристало ли томиться,
Оставь в покое грешного певца.
Колени женские прекраснее, чем лица
Прекрасномраморного мудреца.
Любовь страшна, монашенкою смуглой
Ты ждешь меня и плачешь на заре,
Ольха скрипит, ракитный лист кружится,
И вместо яства уксус и полынь.

II

Мой бог гнилой, но юность сохранил,
И мне страшней всего упругий бюст и плечи,
И женское бедро, и кожи женской всхлип,
Впитавший в муках муку страстной ночи.
И вот теперь брожу, как Ориген,
Смотрю закат холодный и просторный.
Не для меня, Мария, сладкий плен
И твой вопрос, встающий в зыби черной.

III

Лишь шумят в непогоду ставни,
Сквозь сквозные дома завыванье полей.
Наш камин, и твое золотое лицо, словно льдина,
За окном треск снегов и трава.

Это вечер, Мария. Средь развалин России
Горек вкус у вина. Расскажи мне опять про любовь,
Про крылатую, черную птицу с большими зрачками
И с когтями, как красная кровь.

IV

В пернатых облаках все те же струны славы,
Амуров рой. Но пот холодных глаз,
И пальцы помнят землю, смех и травы,
И серп зеленый у брегов дубрав.
Умолкнул гул, повеяло прохладой,
Темнее ночи и желтей вина
Проклятый бог сухой и злой Эллады
На пристани остановил меня.

V

Ночь отгорела оплывшей свечой восковою,
И над домом моим белое солнце скользит.
На паркетном полу распростерлись иглы и хвои,
Аполлон по ступенькам, закутавшись в шубу, бежит.
Но сандалии сохнут на ярко начищенной меди.
Знаю, завтра придет и, на лире уныло бренча,
Будет петь о снегах, где так жалобны звонкие плечи,
Будет кутать унылые плечи в меха.

ПОЭМА КВАДРАТОВ

1

Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша.
Как будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла.
Снует базар, любимый говор черни.
Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?
Так от пластических Венер в квадраты кубов
Провалимся.

2

На скоротечный путь вступаю неизменно,
Легка нога, но упадает путь:

На Киликийский Тавр — под ухом гул гитары,
А в ресторан — но рядом душный Тмол.
Да, человек подобен океану,
А мозг его подобен янтарю,
Что на брегах лежит, а хочет влиться в пламень
Огромных рук, взметающих зарю.
И голосом своим нерукотворным
Дарую дань грядущим племенам,
Я знаю — кирпичом огнеупорным
Лежу у христианских стран.
Струна гудит, и дышат лавр и мята
Костями эллинов на ветряной земле,
И вот лечу, подхваченный спиралью.
Где упаду?

3

И вижу я несбывшееся детство,
Сестры не дали мне, ее не сотворить
Ни рокоту дубрав великолепной славы,
Ни золоту цыганского шатра.
Да, тело — океан, а мозг над головою
Склонен в зрачки и видит листный сад
И времена тугие и благие
Великой Греции.

4

Скрутилась ночь. Аиша, стан девичий,
Смотри, на лодке, Пряжку серебря,
Плывет заря. Но легкий стан девичий
Ответствует: «Зари не вижу я».

5

Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша,
Как будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла.
Снует базар, любимый говор черни.
Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?
Так от пластических Венер в квадраты кубов
Провалимся.

6

Покатый дом и гул протяжных улиц.
Отшельника квадратный лоб горит.
Овальным озером, бездомным кругом
По женским плоскостям скользит.
Да, ты, поэт, владеешь плоскостями,
Квадратами ямбических фигур.
Морей погасших не запомнит память,
Ни белизны, ни золота Харит.

Июнь 1922

* * *

Бегу в ночи над Финскою дорогой.
России не было — колониальный бред.
А там внутри земля бурлит и воет,
Встает мохнатый и звериный человек.
Мы чуждых стран чужое наслоенье,
Мы запада владыки и князья.
Зачем родились мы в стране звериной крови,
Где у людей в глазах огромная заря.
Я не люблю зарю. Предпочитаю свист и бурю,
Осенний свист и безнадежный свист.
Пусть Вифлеем стучит и воет: «Жизни новой!»
Я волнами языческими полн.
Косым углом приподнятые плечи,
На черепе потухшее лицо:
Плывет Орфей — прообраз мой далекий
Среди долин, что тают на заре.
Даны мне гулким медным Аполлоном
Железные и воля и глаза.
И вот я волком рыщу в чистом поле,
И вот овцой бреду по городам.
В сухой дремоте Оптинская пустынь.
Нектарий входит в монастырский сад.
Рябое солнце. Воздух вишней пахнет.
Художники Распятому кадят.
Была Россия — церкви и погосты,
Квадратные сухие терема.
И человек умолк, и берег финский хлещет,
Губернская качается луна.

ИСКУССТВО

Я звезды не люблю. Люблю глухие домы
И площади, червонные, как ночь.
Не погребен. Не для меня колокола хрипели
И языками колотили ночь.

Я знаю, остров я среди кумачной бури
Венеры, муз и вечного огня.
Я крепок, не сломать меня мятежной буре, —
Еще сады в моих глазах звенят.

Но, человек, твое дороже тело
Моей червонномраморной груди
И глаз моих с каймою из лазури,
И ног моих, где моря шум умолк.

* * *

Я променял весь дивный гул природы
На звук трехмерный, бережный, простой.
Но помнит он далекие народы
И треск травы и волн далекий бой.

Люблю слова: предчувствую паденье,
Забвенье смысла их средь торжищ городских.
Так звуки У и О приемлют гул трамвая
И завыванье проволок тугих.

И ты, потомок мой, под стук сухой вокзала,
Под веткой рельс, ты вспомнишь обо мне.
В последний раз звук А напомнит шум дубравы,
В последний раз звук Е напомнит треск травы.

Июль 1922

* * *

Человек

Среди ночных блистательных блужданий,
Под треск травы, под говор городской,
Я потерял морей небесных пламень,
Я потерял лирическую кровь.
Когда заря свои подъемлет перья,
Я у ворот безлиственно стою,

Мой лучезарный лик в чужие плечи канул,
В крови случайных женщин изошел.

Хор

Вновь повернет заря. В своей скалистой ночи
Орфей раздумью предан и судьбе,
И звуки ластятся, охватывают плечи
И к лире тянутся, но не находят струн.

Человек

Не медномраморным, но жалким человеком
Стою на мраморной просторной вышине.
А ветр шумит, непойманные звуки
Обратно падают на золотую ночь.
Мой милый друг, сладка твоя постель и плечи.
Что мне восторгов райские пути?
Но помню я весь холод зимней ночи
И храм большой над синей крутизной.

Хор

Обыкновенный час дарован человеку.
Так отрекаемся, едва пропел петух,
От мрамора, от золота, от хвои
И входим в жизнь, откуда выход — смерть.

Август 1922

* * *

Вы римскою державной колесницей
Несетесь вскачь. Над Вами день клубится,
А под ногами зимняя заря.

И страшно под зрачками римской знати
Найти хлыстовский дух, московскую тоску
Царицы корабля.

Но помните Вы душный Геркуланум,
Везувия гудение и взлет,
И ночь, и пепел.

Кружево кружений. Россия — Рим.

Август 1922

* * *

Шумит Родос, не спит Александрия,
И в черноте распущенных зрачков
Встает звезда, и легкий запах море
Горстями кинуло. И снова рыжий день.
Поэт, ты должен быть изменчивым, как море, —
Не заковать его в ущелья гулких скал.
Мне вручены цветущий финский берег
И римский воздух северной страны.
Умолк. Играй, игрок, ведь все равно кладбище.
Задул ночник, спокойно лег в постель.
Мне никогда и ничего не снится.
Зеленый стол и мертвые кресты.

Ноябрь 1922

* * *

До белых барханов твоих
От струй отдаленного моря
Небывшей отчизны моей
Летают чугунные звуки.

Твои слюдяные глаза
И тело из красного воска...
В прозрачных руках — города.
В ногах — Кавказские горы.

У гулких гранитов Невы
У домов своих одичалых
В колоннах Балтийской страны
Живет Петербургское племя.

Стучит на рассвете трава
Купцы кричат на рассвете.
Раскосо славянской Руси
Сбирается прежнее вече.

И страшен у белых колонн
Под небом осенним и синим
Язык расписной как петух
На древне-языческой хате.

* * *

Я полюбил широкие каменья,
Тревогу трав на пастбищах крутых, —

То снится мне. Наверно день осенний,
И дождь прольет на улицах благих.
Давно я зряч, не ощущаю крыши,
Прозрачен для меня словесный хоровод.
Я слово выпущу, другое кину выше,
Но все равно, они вернутся в круг.
Но медленно волов благоуханье,
Но пастухи о праздности поют,
У гор двугорбых, смуглогруды люди,
И солнце виноградарем стоит.
Но ты вернись веселою подругой, —
Так о словах мы бредили в ночи.
Будь спутником, не богом человеку,
Мой медленный раздвоенный язык.

Янв. 1923

* * *

В селеньях городских, где протекала юность,
Где четвертью луны не в меру обольщен...
О, море, нежный братец человечий,
Нечеловеческой тоски исполнен я.
Смотрю на золото предутренних свечений,
Вдыхаю порами балтийские ветра.
Невозвратимого не возвращают,
Напрасно музыка играет по ночам,
Не позабуду смерть и шелестенье знаю
И прохожу над миром одинок.

Февр. 1923

* * *

Крутым быком пересекая стены,
Упал на площадь виноградный стих.
Что делать нам, какой суровой карой
Ему сиянье славы возвратим?
Мы закуем его в тяжелые напевы,
В старинные чугунные слова,
Чтоб он звенел, чтоб надувались жилы,
Чтоб золотом густым переливалась кровь.
Он не умрет, но станет дик и темен.
И будут жить в груди его слова,
И возвышает голос он, и голосом подобен
Набегу волн, сбивающих дома.

Февр. 1923

* * *

У трубных горл, под сенью гулкой ночи,
Ласкаем отблеском и сладостью могил,
Воспоминаньями телесными томимый,
Сказитель тронных дней, не тронь судьбы моей.
Хочу забвения и молчаливой нощи,
Я был не выше, чем трава и червь.
Страдания мои — страданья темной рощи,
И пламень мой — сияние камней.
Средь шороха домов, средь кирпичей крылатых
Я женщину живую полюбил,
И я возненавидел дух искусства
И, как живой, зарей заговорил.
Но путник тот, кто путать не умеет.
Я перепутал путь — быть зодчим не могу.
Дай силу мне отринуть жезл искусства,
Природа — храм, хочу быть прахом в ней.
И снится мне, что я вхожу покорно
В широкий храм, где пашут пастухи,
Что там жена, подъемлющая сына,
Средь пастухов, подъемлющих пласты.
Взращен искусством я от колыбели,
К природе завистью и ненавистью полн,
Все чаще вспоминаю берег тленный
И прах земли, отвергнутые мной.

Февр. 1923

* * *

Немного меда, перца и вервены
И темный вкус от рук твоих во рту.
Свиваются поднявшиеся стены.
Над нами европейцы ходят и поют.

Но вот они среди долин Урала,
Они лежат в цепях и слышат треск домов
Средь площадей, средь улиц одичалых,
Средь опрокинутых арийских берегов.

* * *

Мы Запада последние осколки
В стране тесовых изб и азиатских вьюг.
Удел Овидия влачим мы в нашем доме...
— Да будь смелей, я поддержу, старик.

И бросил старика. Канал Обводный.
Тиха луна, тиха вода над ним.
Самоубийца я. Но ветер легким шелком
До щек дотронулся и отошел звеня.

18 марта 1923

ФИНСКИЙ БЕРЕГ

1

Любовь опять томит, весенний запах нежен,
Кричала чайкой ночь и билась у окна,
Но тело с каждым днем становится все реже,
И сквозь него сияет Иордан.

И странен ангел мне, дощатый мост Дворцовый
И голубой, как небо, Петроград,
Когда сияет солнце, светят скалы, горы
Из тела моего на зимний Летний сад.

2

Двенадцать долгих дней в груди махало сердце
И стало городом среди Ливийских гор.
А он все ходит по Садовой в церковь
Ловить мой успокоенный, остекленевший взор.

И стало страшно мне сидеть у белых статуй,
Вдыхать лазурь и пить вино из лоз,
Когда он верит, друг и враг заклятый,
Что вновь пойду средь Павловских берез.

3

Но пестрою. но радостной природой
И башнями колоколов не соблазнен.
Восток вдыхаю, бой и непогоду
Под мякотью шарманочных икон.

Шумит Москва, широк прогорклый говор —
Но помню я александрийский звон
Огромных площадей и ангелов янтарных,
И петербургских синих пустырей.

Тиха луна над голою поляной.
Стой, человек в шлафроке! Не дыши!

И снова бой румяный и бахвальный
Над насурмленным бархатом реки.

4

И пестрой жизнь моя была
Под небом северным и острым,
Где мед хранил металла звон,
Где меду медь была подобна.

Жизнь нисходила до меня,
Как цепь от предков своенравных,
Как сановитый ход коня,
Как смугломраморные лавры.

И вот один среди болот,
Покинутый потомками своими,
Певец-хранитель город бережет
Орлом слепым над бездыханным сыном.

1923

* * *

Мы рождены для пышности, для славы.
Для нас судьба угасших родников.
О, соловей, сверли о жизни снежной
И шелк пролей и вспыхивай во мгле.

Мы соловьями стали поневоле.
Когда нет жизни, петь нам суждено
О городах погибших, о надежде
И о любви, кипящей, как вино.

4 ноября 1923

* * *

Не человек: все отошло, и ясно,
Что жизнь проста. И снова тишина.
Далекий серп богатых Гималаев,
Среди равнин равнина я
Неотделимая. То соберется комом,
То лесом изойдет, то прошумит травой.
Не человек: ни взмахи волн, ни стоны,
Ни грохот волн и отраженье волн.
И до утра скрипели скрипки, —
Был ярок пир в потухшей стороне.

Казалось мне, привстал я человеком,
Но ты склонилась облаком ко мне.

Ноябрь 1923

* * *

«Я воплотил унывный голос ночи,
«Всех сновидений юности моей.
«Мне страшно, друг, я пережил паденье,
«И блеск луны и город голубой.
«Прости мне зло и ветреные встречи,
«И разговор под кущей городской».
    Вдруг пир горит, друзья подъемлют плечи,
    Толпою свеч лицо освещено.
«Как странно мне, что здесь себя я встретил,
«Что сам с собой о сне заговорил».
        А за окном уже стихает пенье,
        Простерся день равниной городской.

Хор

«Куда пойдет проснувшийся средь пира,
«Толпой друзей любезных освещен?»
            Но крик горит:
«Средь полунощных сборищ
«Дыханью рощ напрасно верил я.
«Средь очагов, согретых беглым спором,
«Средь чуждых мне проходит жизнь моя.
«Вы скрылись, дни сладчайших разрушений.
«Унылый визг стремящейся зимы
«Не возвратит на низкие ступени
«Спешащих муз холодные ступни.
«Кочевник я среди семейств, спешащих
«К безделию. От лавров далеко
«Я лиру трогаю размеренней и строже,
«Шатер любви простерся широко.
«Спи, лира, спи. Уже Мария внемлет,
«Своей любви не в силах превозмочь,
«И до зари вокруг меня не дремлет
«Александрии башенная ночь».

Июль 1923

* * *

Под гром войны тот гробный тать
Свершает путь поспешный,
По хриплым плитам тело волоча.
Легка ладья. Дома уже пылают.
Перетащил. Вернулся и потух.
    Теперь одно: о, голос соловьиный!
    Перенеслось:
    «Любимый мой, прощай».
Один на площади среди дворцов змеистых
Остановился он — безмысленная мгла.
Его же голос, сидя в пышном доме,
Кивал ему, и пел, и рвался сквозь окно.
И видел он горящие волокна,
И целовал летящие уста,
Полуживой, кричащий от боязни
Соединиться вновь — хоть тлен и пустота.
Над аркою коням Берлин двухбортный снится,
Полки примерные на рысьих лошадях,
Дремотною зарей разверчены собаки,
И очертанье гор бледнеет на луне.
И слышит он, как за стеной глубокой
Отъединенный голос говорит:
    «Ты вновь взбежал в червонные чертоги,
    «Ты вновь вошел в веселый лабиринт».
И стол накрыт, пирует голос с другом,
Глядят они в безбрежное вино.
А за стеклом, покрытым тусклой вьюгой,
Две головы развернуты на бой.
    Я встал, ополоснулся; в глухую ночь,
    О друг, не покидай.
    Еще поля стрекочут ранним утром,
    Еще нам есть куда
    Бежать.

Ноябрь 1923

* * *

Вблизи от войн, в своих сквозных хоромах,
Среди домов, обвисших на полях,
Развертывая губы, простонала
Возлюбленная другу своему:
«Мне жутко, нет ветров веселых,
«Нет парков тех, что помнили весну,
«Обоих нас, блуждавших между кленов,
«Рассеянно смотревших на зарю.

«О, вспомни ночь. Сквозь тучи воды рвались,
«Под темным небом не было земли,
«И ты восстал в своем безумье тесном
«И в дождь завыл о буре и любви.
«Я разлила в тяжелые стаканы
«Спокойный вой о войнах и волках,
«И до утра под ветром пировала,
«Настраивая струны на уа.
«И видел домы ты, подстриженные купы,
«Прощальный голос матери твоей,
«Со мной, безбрежный, ты скитался
«И тек, и падал, вскакивал, пенясь».

Ноябрь 1923

* * *

Один средь мглы, среди домов ветвистых
Волнистых струн перебираю прядь.
Так ничего, что плечи зеленеют,
Что язвы вспыхнули на высохших перстах.
Покойных дней прекрасная Селена,
Предстану я потомкам соловьем,
Слегка разложенным, слегка окаменелым,
Полускульптурой дерева и сна.

Ноябрь 1923

II. СТИХИ 1924-1926 гг.

* * *

И лирник спит в проснувшемся приморье,
Но тело легкое стремится по струнам
В росистый дом, без крыши и без пола,
Где с другом нежным юность проводил.
И голос вдруг во мраморах рыдает:
«О, друг, меня побереги.
«Своим дыханием расчетным
«Мое дыханье не лови».

Январь 1924

* * *

Как хорошо под кипарисами любови
На мнимом острове, в дремотной тишине
Стоять и ждать подруги пробужденье,
Пока зарей холмы окружены.
Так возросло забвенье. Без тревоги,
Ясней луны, сижу на камне я.
За мной жена, свои простерши косы,
Под кипарисы память повела.

Январь 1924

ПСИХЕЯ

Спит брачный пир в просторном мертвом граде,
И узкое лицо целует Филострат.
За ней весна цветы свои колышет,
За ним заря, растущая заря.
И снится им обоим, что приплыли
Хоть на плотах сквозь бурю и войну,
На ложе брачное под сению густою,
В спокойный дом на берегах Невы.

Январь 1924

ГРИГОРИЮ ШМЕРЕЛЬСОНУ

Но знаю я, корабль спокоен,
Что он недвижим средь пучины,
Что не вернуться мне на берег,
Что только тень моя на нем.
Она блуждает ночью темной,
Она влюбляется и пляшет...

5 марта 1924

* * *

О, сделай статуей звенящей
Мою оболочку, Господь,
Чтоб после отверстого плена
Стояла и пела она
О жизни своей ненаглядной,
О чудной подруге своей,
Под сенью смарагдовой ночи,
У врат Вавилонской стены.
Для вставшего в чреве могилы
Спокойная жизнь не страшна,
Он будет, конечно, влюбляться
В домовье, в жену у огня.
И ложным покажется ухо,
И скипетроносный прибой,
И золото черного шелка
Лохмотий его городов.

Апрель 1924

* * *

Из женовидных слов змеей струятся строки,
Как ведьм распахнутый кричащий хоровод,
Но ты храни державное спокойство,
Зарею венчанный и миртами в ночи.
И медленно, под тембр гитары темной,
Ты подбирай слова, и приручай и пой,
Но не лишай ни глаз, ни рук, ни ног зловещих,
Чтоб каждое неслось, но за руки держась.
И я вошел в слова, и вот кружусь я с ними,
Танцую в такт над дикой крутизной,
Внизу дома окружены зарею,
И милая жена, как темное стекло.

Апрель 1924

* * *

Под лихолетьем одичалым,
Среди проулков городских
Он еле видной плоской тенью
Вдруг проскользнул и говорит:
«Мне вспыхивать, другим — сиянье.
«Но вспыхиванье — суета.
«Я оборвался средь зияний,
«До вас разверзлась жизнь моя».
И тихий шепот плыл под дубом,
И семиградный встал слепец,
Заговорил в домашнем круге
О друге юности своей:
«Он необуздан был средь бдений
«Под сновиденьем городским,
«Не жизнь искал он — сладкой доли
«Жизнь проводить среди ночей».

Апрель 1924

* * *

В одежде из старинных слов
На фоне мраморного хора
Свой острый лик я погрузил в партер,
Но лилия явилась мне из хора.
В ее глазах дрожала глубина
И стук сиял домашнего вязанья,
А на горе фонтана красный блеск,
Заученное масок гоготанье.
И жизнь предстала садом мне,
Увы, не пышным польским садом.
И выступаю из колонн
Моих ночей мрачноречивых.
Но как мне жить средь людных очагов,
В плаще трагическом героя,
С привычкою все отступать назад
На два шага, с откинутой спиною.

Апрель 1924

* * *

Поэзия есть дар в темнице ночи струнной,
Пылающий, нежданный и глухой.
Природа мудрая всего меня лишила,
Таланты шумные, как серебро взяла.

И я, из башни свесившись в пустыню,
Припоминаю лестницу в цвету,
По ней взбирался я со скрипкой многотрудной,
Чтоб волнами и миром управлять.
Так в юности стремился я к безумью,
Загнал в глухую темь познание мое,
Чтобы цветок поэзии прекрасной
Питался им, как почвою родной.

Сент. 1924

* * *

Час от часу редеет мрак медвяный
И зеленеют за окном листы.
Я чувствую — желаньем полон мрамор
Вновь низвести небесные черты.
В несозданном, несотворенном мире,
Где все полно дыханием твоим,
Не назову гробницами пустыни
Я образы тревожные твои.
Охваченный твоим самосожженьем,
Не жду, что завтра просветлеешь ты
И все еще ловлю в дыму твое виденье
И уходящий голос твой люблю.
И для меня прекрасна ты,
И мать и дочь одновременно
Средь клочьев дыма и огня.
На ложах точно сна виденья
Сидим недвижны и белы,
И самовольное встает
Полулетящее виденье,
Неотразимое явленье.

ОТШЕЛЬНИКИ

Отшельники, тристаны и поэты,
Пылающие силой вещества —
Три разных рукава в снующих дебрях мира,
Прикованных к ластящемуся дну.
Среди людей я плыл по морю жизни,
Держа в цепях кричащую тоску,
Хотел забыться я у ног любви жемчужной,
Сидел, смеясь, на днище корабля.
Но день за днем сгущалось оперенье
Крылатых туч над головой тройной,
Зеленых крон все тише шелестенье,

Среди пустынь вдруг очутился я.
И слышу песнь во тьме руин высоких,
В рядах колонн без лавра и плюща:
«Пустынна жизнь среди Пальмир несчастных,
Где молодость, как виноград, цвела
В руках умелых садовода
Без лиц в трех лицах божества.
В его садах необозримых,
Неутолимы и ясны,
Выходят из развалин пары
И вспыхивают на порогах мглы.
И только столп стоит в пустыне,
В тяжелом пурпуре зари,
И бородой Эрот играет,
Копытцами переступает
На барельефе у земли.
　　Не растворяй в сырую ночь, Геката, —
　　Среди пустынь, пустую жизнь влачу,
　　Как изваяния, слова сидят со мною
　　Желанней пиршества и тише голубей.
　　И выступает город многолюдный,
　　И рынок спит в объятьях тишины.
　　Средь антикваров желчных говорю я:
　　«Пустынных форм томительно ищу».
Смолкает песнь, Тристан рыдает
В расщелине у драгоценных плит:
　　«О, для того ль Изольды сердце
　　Лежало на моей груди,
　　Чтобы она, как Филомела,
　　Взлетела в капище любви,
　　Чтобы она прекрасной птицей
　　Кричала на ночных брегах...»
Пересекает голос лысый
Из кельи над рекой пустой:
　　«Не вожделел красот я мира,
　　Мой кабинет был остеклен,
　　За ними книги в пасти черной,
　　За книгами — сырая мгла.
　　Но все же я искал названий
　　И пустоту обогащал,
　　Наследник темный схимы темной,
　　Сухой и бледный, как монах.
　　С супругой нежной в жар вечерний
　　Я не спускался в сад любви...»
Но выступает столп в пустыне,
Шаги из келии ушли.
И в переходах отдаленных,
На разрисованных цветах,
Пространство музыкой светилось,

Как будто солнцем озарилась
Невидимой, но ощутимой речь:
  «Когда из волн я восходила
  На Итальянские поля —
  Но здесь нежданно я нашла
  Остаток сына в прежнем зале.
  Он красен был и молчалив,
  Когда его я поднимала,
  И ни кудрей, и ни чела,
  Но все же крылышки дрожали».
И появившись вдалеке,
В плаще багровом, в ризе синей,
Седые космы распустив,
Она исчезла над пустыней.
И смолкло все. Как лепка рук умелых,
Тристан в расщелине лежит,
Отшельник дремлет в келье книжной,
Поэт кричит, окаменев.
Зеленых крон все громче шелестенье.
На улице у растопыренных громад
Очнулся я. Проходит час весенний,
Свершенный день раскрылся у ворот.

Май — сент. 1924

* * *

Одно неровное мгновенье
Под ровным оком бытия
Свершаю путь я по пустыне,
Где искушает скорбь меня.
В шатрах скользящих свет не гаснет,
И от зари и до зари
Венчаюсь скорбью, и прощаюсь,
И вновь венчаюсь до зари.
Как будто скорбь владеет мною,
Махнет платком — и я у ног,
И чувствую: за поцелуй единый
Я первородством пренебрег.

Сент. 1924

* * *

Под чудотворным, нежным звоном
Игральных слов стою опять.
Полудремотное существованье —
Вот, что осталось от меня.

Так сумасшедший собирает
Осколки, камешки, сучки,
Переменясь, располагает
И слушает остатки чувств.
И каждый камешек напоминает
Ему — то тихий говор хат,
То громкие палаты дожей,
Быть может, первую любовь
Средь петербургских улиц шумных,
Когда вдруг вымирал проспект,
И он с подругой многогульной
Который раз свой совершал пробег,
Обеспокоен смутным страхом,
Рассветом, детством и луной.
Но снова ночь благоухает,
Янтарным дымом полон Крым,
Фонтаны бьют и музыка пылает,
И нереиды легкие резвятся перед ним.

Октябрь 1924

* * *

Не тщись, художник, к совершенству
Поднять резец искривленной рукой,
Но выточи его, покрой изящным златом
И со статуей рядом положи.
И магнетически притянутые взоры
Тебя не проглядят в разубранном резце,
А статуя под покрывалом темным
В венце домов останется молчать.
Но прилетят года, резец твой потускнеет,
Проснется статуя и скинет темный плащ
И, патетически перенимая плач,
Заговорит, притягивая взоры.

Окт. 1924

* * *

О, сколько лет я превращался в эхо,
В стоящий вихрь развалин теневых.
Теперь я вырвался, свободный и скользящий,
И на балкон взошел, где юность начинал.
И снова стрелы улиц освещенных
Марионетную толпу струили подо мной.
И, мне казалось, в этот час отвесный

Я символистом свесился во мглу,
Седым и пережившим становленье
И оперяющим опять глаза свои,
И одиночество при свете лампы ясной,
Когда не ждешь восторженных друзей,
Когда поклонницы стареющей оравой
На креслах наступившее хулят.
Нет, я другой. Живое начертанье
Во мне растет, как зарево.
Я миру показать обязан
Вступление зари в еще живые ночи.

Декабрь 1924

* * *

Да, целый год я взвешивал,
Но не понять мне моего искусства.
Уже в садах осенняя прохлада,
И дети новые друзей вокруг меня.
Испытывал я тщетно книги
В пергаментах суровых и новые
Со свежей типографской краской.
В одних — наитие, в других же — сочетанье,
Расположение — поэзией зовется.
Иногда
Больница для ума лишенных снится мне,
Чаще сад и беззаботное чириканье.
Равно невыносимы сны.
Но забываюсь часто, по-прежнему
Безмысленно хватаю я бумагу —
И в хаосе заметное сгущенье,
И быстрое движенье элементов,
И образы под яростным лучом —
На миг. И все опять исчезло.
Хотел бы быть ученым, постепенно
Он мысль мою доводит до конца.
А нам одно блестящее мгновенье,
И упражненье месяцы и годы,
Как в освещенном плещущей луной
Монастыре.
Пастушья сумка, заячья капустка,
Окно с решеткой, за решеткой свет
Во тьме повис. И снова я пытаюсь
Восстановить утраченную цепь,
Звено в звено медлительно вдеваю.
И кажется, что знал я все
В растраченные юношества годы.

Умолк на холмах колокольный звон,
Покойников хоронят ранним утром,
Без отпеваний горестных и трудных,
Как будто их субстанции хранятся
Из рода в род в телах живых.
В своей библиотеке позлащенной
Слежу за хороводами народов
И между строк прочитываю книги,
Халдейскою наукой увлечен.
И тот же ворон черный на столе,
Предвестник и водитель Аполлона.
Но из домов трудолюбивый шум
Рассеивает сумрак и тревогу.
И новый быт слагается,
Совсем другие песни
Поются в сумерках в одноэтажных городах.
Встают с зарей и с верой в первородство,
Готовятся спокойно управлять
До наступленья золотого века.
И принужденье постепенно ниспадает,
И в пеленах проснулося дитя,
Кричит оно, старушку забавляя,
И пляшет старая с толпою молодой.

Декабрь 1924

* * *

Пред разноцветною толпою
Летящих пар по вечерам,
Под брызги рук ночных таперов
Нас было четверо:
Спирит с тяжелым трупом души своей,
Белогвардейский капитан
С неудержимой к родине любовью,
Тяжелоглазый поп,
Молящийся над кровью,
И я, сосуд пустой
С растекшейся во все и вся душою.
Далекий свет чуть горы освещал
И вывески белели на жилищах,
Когда из дома вышли трое в ряд
И побрели по пепелищу.
Я вышел тоже и побрел куда
Глаза глядят с невыносимой жаждой
Услышать моря плеск и парусника скрип
И торопливое деревьев колыханье.

Январь 1925

* * *

Он думал: вот следы искусства
Развернутого на горах
Сердцами дам
И усачи с тяжелой лаской глаз
Он видел вновь шумящие проспекты
И север в свете снеговом
Пушистых дев белеющие плечи
Летящих в море ледяном
И в солнечном луче его друзья стояли
Толпилися как первые мечты
[и горькие глаза рукою прикрывали
и горькими глазами наблюдали
О горе новостях ему повествовали]
И новости ему в окно кидали
Как башмачок как ясные цветы

(1925 ГОД)

(поэма)

ФИЛОСТРАТ:

«И дремлют львы, как изваянья,
И чудный Вакха голос звал
Меня в свои укромные пещеры,
Где все во всем открылось бы очам.
Свое лицо я прятал поздней ночью
И точно вор звук вынимал шагов
По переулкам донельзя опасным.
Среди усмешек девушек ночных,
Среди бродяг физических, я чуял
Отождествление свое с вселенной,
Невыносимое мгновенье пережил».

Прошли года, он встретился с собою
У порога безлюдных улиц,
Покой зловещий он чувствовал в покоях
Богатых. И казался ему еще огромней
Город и еще ужасней рок певца,
И захотелось ему услышать воркованье
Голубей вновь. Почувствовать не плющ,
А руки возлюбленной.
Увидеть вновь друзей разнообразье,
Увенчанных бесславной смертью.

Его на рынках можно было встретить,
Где мертвые мертвечиной торгуют.
Он скарб, не прикасаясь, разбирал,
Как будто бы его все это были вещи.

Тептелкин на бумагу несет «Бесов»,
Обходит шажком фигуру,
Созерцающую бесконечность.

ТЕПТЕЛКИН:

«А все же я его люблю,
Он наш, он наш от пят и до макушки,
Ведь он нас вечностью дарит
Под фиговым листком воображенья.
Дитя, пусть тешит он себя,
Но жаль, что не на Шпрее, не на Сене
Сейчас. Тогда воспользоваться им всецело
Могли бы мы. И бред его о фениксе
Мы заменили б явью».

ФИЛОСТРАТ:

«Какая ночь и звезды, но звезда
Одна в моих глазах Венера,
Иначе Люцифер — носительница света.
Труднее нет науки, чем мифология.
Средь пыльных фолиантов
Я жизнь свою охотно бы провел,
Когда со мной была бы ты, Психея.
Качаема волной стояла ты,
Глядя на город полуночный,
На приапические толпы,
На освещенье разноцветное реклам,
В природе ежечасно растворяясь
И ежечасно отделяясь от нее.
И стал я жить в движенье торопливом
Толпы погруженной в себя.
Все снится мне, сияя опереньем,
Ты фениксом взовьешься предо мной,
И что костер толпы движенье
И человек костер перед тобой.
Что ж ты молчишь теперь,
Как будто изваянье, лишенное окраски,
С тяжелыми крылами.
Тебя не выставлю на перекрестке,
Пока ты вновь крылами не блеснешь
И розовостью плеч полупрозрачных».

Тептелкин появляется на том месте, где должны были бы быть двери.

ТЕПТЕЛКИН:

«Вы здесь, маэстро,
Фрагмент вы новый
Готовите.
За вещь большую я не советую
Вам приниматься.
Спокойствие и возраст вам нужны
Для творчества спокойного теченья.
Теперь бы вам политикой заняться,
Через огонь и кровь
Необходимо вам пройти».

Наступает вечер, рынок замолкает, торговцы упаковывают свой скарб. На тележках видны японские вазы, слоновая кость, выключатели, подставки от керосиновых ламп.

Лавка книжника.

КНИЖНИК:

«Вот «Ночи» Юнга. Дешево я уступлю
Вам. Получите вы наслажденье сильнейшее.
Зажжете вечерком свечу или иное
В наш век необычайное изобретете освещенье,
Повесите Помпей изображенье,
Заглянете в альбом Пальмиры,
Вздохнете об исчезновеньи Вавилона
И о свинцовом скиптре мрачныя царицы
Читать начнете».

ФИЛОСТРАТ:

«Я не за ним. Другого автора
Я как-то пропустил,
Он мне сегодня снился ночью.
Я вспомнил, года два тому назад он был
У вас на нижней полке.
Его «Аттические ночи» я ищу.
Должны вы были настоять,
Чтоб я купил их.
Помните, в тот вечер,
Когда шел снег и дождь,
И красною была луна,

Я забежал в своей крылатке мокрой
За Клавдианом в серых переплетах».

КНИЖНИК:

«Вы каждый день заходите.
В крылатке, насколько помню,
Не забегали вы. А книги
В мышиных переплетах все проданы.
Вот «Ночи» Юнга, редкий экземпляр
С французского на итальянский,
Он вам необходим для постиженья душ.
Его для вас я выбрал в куче хлама».

(Филострат убегает.)

Свист бури. Шестой этаж, черный ход, перед дверью помойное ведро. Стены увешаны потертыми и продранными коврами. Прыгают блохи.

ЦЫГАНКА:

«Так в Бога вы не веруете?»

ФИЛОСТРАТ:

«Нет».

Улица. Цыганка с Тептелкиным идет под ручку. Тептелкин несет под мышкой гитару в футляре.

ЦЫГАНКА:

«Скажите, он опасный человек?»

ТЕПТЕЛКИН:

«Безумец жалкий».

Тептелкин и цыганка входят в подъезд ярко освещенного дома.

Бал-маскарад. Тептелкин под руку с Филостратом.

ТЕПТЕЛКИН:

«Поете вы,
Как должно петь — темно и непонятно.
Игрою слов пусть назовут глупцы

Ваш стих. Вы притворяетесь
Искусно. Не правда ли,
Безумие, как средство, изобрел
Наш старый идол Гамлет.
О, все рассчитано и взвешено:
И каждый поворот
И слово каждое,
Как будто вы искусству преданы,
Сомнамбулой, как будто, ступаете между землей и небом.
О, вспоминаю, как мы играли
В бабки в детстве над дворе.
То есть играл лишь я,
А вы прохаживались, вдохновляясь
Прекрасным воздухом воображаемые рощи.
«Как сад прекрасен, — говорили вы, —
«Не то что садики голландские с шарами и гномами
«С лоснящейся улыбкой.
«Аллеи здесь прямы и даже школы Алкамена
«Я видел торс, подверженный отбросам
«Ребячьих тел, сажаемых заботливою няней».
Не мудрено затем услышали вы море
В домашней передряге».

ДАМА:

«Вы ищете неповторимого искусства,
Вы, чувствующий повторяемость всего,

Оно для вас прибежище свободы.
Идемте в сад, здесь так несносен шум.
Ах! Боже мой! Сияющие пары.
Подумать только, молодость прошла.
Я удивляюсь, как вы вне пространства
Из года в год сжигаете себя.

Комната Филострата. Филострат лежит. Читает.

«И одеяло дыр полно,
И в комнате полутемно,
И часовщик дрожит в стене,
Он времени вернейший знак,
Возникший и нежданный враг.
Не замечая, мы живем
И вдруг морщины узнаем».
И Филострат с постели скок
И на трехногий стул присел,
Достал он зеркало. Увы!
Увидел за собой сады

И всплески улиц, взлет колонн,
Антаблементов пестрый хор,
Не тиканье часовщика,
А музыка в груди его.
«Прекрасна жизнь — небытие
Еще прекрасней во сто крат,
Но умереть я не могу.
Пусть говорят, что старый мир
Опасен для ума людей,
Что отрывает от станков
И от носящихся гудков.
Увы, чем старше, тем скорей
Наступит молодость моя.
Сейчас я стар, а завтра юн
И улыбаюсь сквозь огонь».

Верба.

Летит московский раскидай
Весь позолочен, как Китай,
Орнаментальные ларцы
С собою носят кустари.
Тептелкин важно, точно царь,
Идет осматривать базар.
«Вот наша Русь, — он говорит, —
Заморских штучек не люблю,
Советы — это наша Русь,
Они хранились в глубине
Под Византийскою парчой,
Под западною чепухой».

Филострат идет с рукописью в театр.

I акт. Темно.

ФИЛОСТРАТ:

Страшнее жить нам с каждым годом,
Мы правим пир среди чумы,
Погружены в свои печали.
Сады для нас благоухают,
Мы слышим моря дальний гул,
И мифологией случайно
Мы вызываем страшный мир
В толпу и в город малолюдный,
Где мертвые тела лежат,

Где с грудью полуобнаженной
Стоит прекрасна и бела
Венеры статуя и символ.

Садитесь, Сильвия, составил я стихотворение для вас:

«Стонали, точно жены, струны:
Ты в черных нас не обращай
И голубями в светлом мире
Дожить до растворенья дай,
Чтоб с гордостью неколебимой
Высокие черты несли
Как излияние природы,
Ушедшей в бесполезный цвет,
Сейчас для нищих бесполезный».

СИЛЬВИЯ:

«Мне с Вами страшно.
Зачем бередить наши раны,
Еще не утеряли свет
Земля и солнце и свобода.
Возьмемте книгу и пойдем
Читать ее под шелесты фонтанов,
Пока еще охваченные сном
Друзья покоятся.
Забудем город».

Есть в статуях вина очарованье,
Высокой осени пьянящие плоды,
Они особенно румяны,
Но для толпы бесцветны и бледны,
И как бы порожденье злобной силы
Они опять стихией стали тьмы.

В конце аллеи появляется старик философ:

«Увы, жива мифологема
Боренья света с тьмой.
Там в городе считают нас чумными,
Мы их считать обречены.
Оттуда я, ужасную Венеру
Там вознесли. Разрушен брак
И семьи опустели, очаги замолкли,
Небесную Венеру вы здесь храните,
Но все мифологема».

СИЛЬВИЯ:

«Ушел старик, боюсь, он занесет заразу в наш замок.
С некоторых пор веселье как-то иссякает наше.
Все реже слышны скрипки по ночам,
Все реже опьянение нисходит.
И иногда мне кажется, что мы
Окружены стеной недобровольно».

Во дворе появляется человек:

«Наш дивный друг всегда такой веселый
Повесился над Данта песнью пятой.
Нам Дант становится опасен,
Хотя ни в ад, ни в рай не верим мы.

Песнь оставшихся в замке:

Любовь, и дружба, и вино,
Пергамент, песня и окно,
Шумит и воет Геллеспонт,
Как чернобурный Ахеронт.
На берегу стоим, глядим,
К своим возлюбленным летим.
Свеча горит для нас, для нас.
Ее огонь спасает нас
От смерти лысой и рябой
В плаще и с длинною косой.

Песня Сильвии:

Но не сирены — соловьи
Друзья верны, друзья верны
И не покинут в горе нас,
Светить нам будут в бурный час,
Как маяки для кораблей,
Как звезды в глубине ночей.
Вода сияет, бьет вода,
Сижу я с пряжею над ней.
Вот сердце друга моего,
Заштопать сердце мне дано,
Чтоб вновь сияло и цвело
И за собой вело, вело!

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА:

Избрали греческие имена синьоры,
Ушли из города, засели в замке,
Поэзию над смертью развели
И музыкой от дел нас отвлекают.
То снова им мерещится любовь,
Наук свободных ликованье,
Искусств бесцельных разговор
И встречи в зданиях просторных.
Но непокорных сдавим мы,
Как злобной силы проявленье.
Скульптор льет статую,
Но твердо знаем мы —
В ней дух живет его мировоззренья.
Должны ему мы помешать
И довести до исступленья.
Поэт под нежностью подносит нам оскал,
Под вычурами мыслью жалит,
А музыкант иною жизнью полн,
Языческою музыкой ласкает.
Ты посмотри, они бледны
И тщетно вырожденье прикрывают.
В одежды светлые облачены,
Змеиным ядом поражают.

ЮПИТЕР:

Меркурий, что видишь ты?

МЕРКУРИЙ:

Я вижу девушку в листве струистой.
Она готовится купаться в вихре света
И с ней стоит толпа несчастных гномов.

ВЕНЕРА:

Ты зол на них, Меркурий,
Хоть век твой наступил,
В моем пребудут веке.

ЮПИТЕР:

Неподчинение судьбе карается жестоко.

ВАКХ:

Я подкреплю их силой опьяненья.

АПОЛЛОН:

Искусства им дадут забвенье.

ВЕНЕРА:

Любовниками истинными будут.

Статуи прохаживаются. Одни идут гордо и [...]. Другие печально. Венеру ведут под руки Вакх и Аполлон, она идет, пошатываясь и опустив голову. На лужайке музы исполняют простонародные песни и пляски.

Актеры снимают маски. Видны бледные лица.

В зале шум. Тептелкин вскакивает:

«Нам опять показали кукиш в кармане!»

Июнь 1925

ВОРОН

Прекрасен, как ворон, стою в вышине,
Выпуклы архаически очи.
Вот ветку прибило, вот труп принесло,
И снова тина и камни.
И важно, как царь, я спускаюсь со скал
И в очи свой клюв погружаю.
И чудится мне, что я пью ясный сок,
Что бабочкой переливаюсь.

Январь 1926

* * *

На крышке гроба Прокна
Зовет всю ночь сестру свою.
В темнице Филомела.
Ни петь, ни прясть, ни освещать
Уже ей в отчем доме.

Закрыты двери на запор,
А за дверьми дозоры.
И постепенно, день за днем
Слова позабывает,
И пеньем освещает мрак
И звуками играет.
Когда же вновь открылась дверь,
Услышали посланцы,
Как колыханье волн ночных,
Бессмысленное пенье.
Щебечет Прокна и взлетает
В лазури ясной под окном.
А соловей полночный тает
На птичьем языке своем.

1926

* * *

И снова мне мерещилась любовь
На диком дне. В взвивающемся свисте,
К ней все мы шли. Но берега росли.
Любви мы выше оказались.
И каждый, вниз бросая образ свой,
Его с собой мелодией связуя,
Стоял на берегу, растущем в высоту,
Своим же образом чаруем.

1926

* * *

Над миром рысцой торопливой
Бегу я спокоен и тих
Как будто обтечь я обязан
И каждую вещь осмотреть.
И мимо мелькают и вьются,
Заметно к могилам спеша,
В обратную сторону тени
Когда-то любимых людей.
Из юноши дух выбегает,
А тело, старея, живет,
А девушки синие очи
За нею, как глупость, идут.

1926

* * *

В стремящейся стране, в определенный час
Себя я на пиру встречаю,
Когда огни застигнуты зарей
И, как цветы, заметно увядают.
Иносказаньем кажется тогда
Ночь, и заря, и дуновенье,
И горький парус вдалеке,
И птиц сияющее пенье.

1926

ЭВРИДИКА

Зарею лунною, когда я спал, я вышел,
Оставив спать свой образ на земле.
Над ним шумел листвою переливной
Пустынный парк военных дней.
Куда идти легчайшими ногами?
Зачем смотреть сквозь веки на поля?
Но музыкою из тумана
Передо мной возникла голова.
Ее глаза струились,
И губы белые влекли,
И волосы мерцая изгибались
Над чернотой отсутствующих плеч.
И обожгло: ужели Эвридикой
Искусство стало, чтоб являться нам
Рассеянному поколению Орфеев,
Живущему лишь по ночам.

1926

ПСИХЕЯ

Любовь — это вечная юность.
Спит замок Литовский во мгле.
Канал проплывает и вьется,
Над замком притушенный свет.
И кажется солнцем встающим
Психея на дальнем конце,
Где тоже канал проплывает
В досчатой ограде своей.

1926

* * *

Тебе примерещился город,
Весь залитый светом дневным,
И шелковый плат в тихом доме,
И родственников голоса.
Быть может, сочные луны
Мерцают плодов над рекой,
Быть может, ясную зрелость
Напрасно мы ищем с тобой!
Все так же, почти насмехаясь,
Года за годами летят,
Прекрасные очи подруги
Все так же в пространство глядят.
Мне что — повернусь, не замечу
Как год пролетел и погас.
    Но для нее цветы цветут,
    К цветам идет она.
    И в поднебесье голоса
    И голоса в траве.
    И этот свист и яркий свет
    В соотношеньи с ней —
    Уйдет она и вновь земля
    Исчезла предо мной.
    Вне времени и вне пространств
    Бесплотен, словно дух,
    Я метеором промелькнул,
    Когда б не тихий друг.

1926

* * *

Я восполненья не искал.
В своем пространстве
Я видел образ женщины, она
С лицом, как виноград, полупрозрачным,
Росла со мной и пела и цвела.
Я уменьшал себя и отправлял свой образ
На встречу с ней в глубокой тишине.
Я — часть себя. И страшно и пустынно.
Я от себя свой образ отделил.
Как листья скорчились и сжались мифы.
Идололатрией в последний раз звеня,
На брег один, без Эвридики,
Сквозь Ахеронт пронесся я.

1926

НОЧЬ

И мы по опустевшему паркету
Подходим к просветлевшим зеркалам.
Спит сад, покинутый толпою,
Среди дубов осина чуть дрожит
И лунный луч, земли не достигая,
Меж туч висит.
И в глубине, в переливающемся зале,
Танцуют, ходят, говорят.
Один сквозь ручку к даме гнется,
Другой медлительно следит
За собственным отображеньем,
А третий у камина спит
И видит Рима разрушенье.
И ночь на парусах стремится,
И самовольное встает
Полулетящее виденье:
— Средь вас я феникс одряхлевший.
В который раз, под дивной глубиной
Неистребимая, я на костре воскресну,
Но вы погибнете со мной. —
— Спокойны мы, за огненной заставой
Ты временно забудешь нас.
Но в глубине глухих пещер
Стоит твое изображенье,
Оно развеяно везде
И связано с тобою нераздельно,
Куда б ни залетела ты,
Ты свой состав не переменишь. —
Сквозь дым и жар Психея слышит
Далекий погребальный звон.
Ей кажется — огонь чужое тело ломит.
Пред нею возникает мир
Сперва в однообразии прозрачном.

1926

* * *

На лестнице я как шаман
Стал духов вызывать
И появились предо мной
И стали заклинать:
«Войди в наш мир,
Ты близок нам.
Уйди от снов земли,
Твой прах земной
Давно истлел.

Пусть стянут вниз
Лишь призрак твой,
Пусть ходит он средь них,
Как человек, как человек, молчащий человек». —
И хохотали духи зло.
У лестницы толпа
Тянула вниз, тянула вниз
Мой призрак, хлопоча.

* * *

Ангел ночной стучит, несется
По отвратительной тропинке,
Между качающихся рож:
«Пусть мы несчастны, размечает,
Должны подруг мы охранить
И вопль гармонии ужасной
Сияньем света охватить».
И ноги сгибнувшей подруги
Он плача лобызать готов.
Вот дверь открылась
И с цветами идет мне сон свой рассказать,
И говорит: «Ты бледен странно,
Идем на кладбище гулять».
Вокруг могилки и цветочки,
И крестики и бузина.
И по могилкам скачут дети
И сердцевины трав едят.
И силюсь увести подругу
Под опьяняющую ночь.
Столбы ограды забиваю,
Краду деревья — расставляю,
И здание сооружаю.
И снится ей, что мы блуждаем
Как брат с сестрой,
Что позади остался свист пустынной ямы,
Что вечно существуем мы.

* * *

Звук О по улицам несется,
В домах затушены огни,
Но человека мозг не погасает
И гоголем стоит.
И удивляются ресницы:
«Почто воскреснул ты,

Иль на небе горят зеницы
И в волосах — цветы».
В венках фиалковых несется
Веселый хоровод:
«Пусть дьяволами нас считает
Честной народ.
В пустыне мы,
Но сохраняем
Свои огни.
И никогда мы не изменим,
Пусть нас костят орлы.
Пусть будем жаждою томиться
И голодать.
К скале прикованный над нами
Прообразом висишь,
Твои мы дети и иначе
Не можешь поступить».

МУЗЫКА

В книговращалищах летят слова.
В словохранилищах блуждаю я.
Вдруг слово запоет, как соловей —
Я к лестнице бегу скорей,
И предо мною слово точно коридор,
Как путешествие под бурною луною
Из мрака в свет, со скал береговых
На моря беспредельный перелив.
Не в звуках музыка — она
Во измененье образов заключена.
Ни О, ни А, ни звук иной
Ничто пред музыкой такой.
Читаешь книгу — вдруг поет
Необъяснимый хоровод,
И хочется смеяться мне
В нежданном и весеннем дне.

1926

* * *

За ночью ночь пусть опадает,
Мой друг в луне
Сидит и в зеркало глядится.
А за окном свеча двоится
И зеркало висит, как птица,
Меж звезд и туч.

«О, вспомни, милый, как бывало
Во дни раздоров и войны
Ты пел, взбегая на ступени
Прозрачных зданий над Невой».
И очи шире раскрывая,
Плечами вздрогнет, подойдет.
И сердце, флейтой обращаясь,
Унывно в комнате поет.
А за окном свеча бледнеет
И утро серое встает.
В соседних комнатах чиханье,
Перегородок колыханье
И вот уже трамвай идет.

1926

* * *

Два пестрых одеяла,
Две старенькиx подушки,
Стоят кровати рядом.
А на окне цветочки —
Лавр вышиной с мизинец
И серый кустик мирта.
На узких полках книги,
На одеялах люди —
Мужчина бледносиний
И девочка жена.
В окошко лезут крыши,
Заглядывают кошки,
С истрепанною шеей
От слишком сильных ласк.
И дом давно проплеван,
Насквозь туберкулезен,
И масляная краска
Разбитого фасада,
Как кожа, шелушится.
Напротив, из развалин,
Как кукиш между бревен
Глядит бордовый клевер
И головой кивает,
И кажет свой трилистник,
И ходят пионеры,
Наигрывая марш.
Мужчина бледносиний
И девочка жена
Внезапно пробудились
И встали у окна.

И, вновь благоухая
В державной пустоте,
Над ними ветви вьются
И листьями шуршат.
И вновь она Психеей
Склоняется над ним,
И вновь они с цветами
Гуляют вдоль реки.
Дома любовью стонут
В прекрасной тишине,
И окна все раскрыты
Над золотой водой.
Пактол ли то стремится?
Не Сарды ли стоят?
Иль брег александрийский?
Иль это римский сад?
Но голоса умолкли.
И дождик моросит.
Теперь они выходят
В туманный Ленинград.
Но иногда весною
Нисходит благодать:
И вновь для них не льдины,
А лебеди плывут,
И месяц освещает
Пактолом зимний путь.

1926

ЭЛЛИНИСТЫ

Мы, эллинисты, здесь толпой
В листве шумящей, вдоль реки,
Порхаем, словно мотыльки.
На тонких ножках голова,
На тонких щечках синева.
Блестящ и звонок дам наряд,
Фонтаны бьют, огни горят,
За парой парою скользим
И впереди наш танцевод
Ступает задом наперед.

И волхвованье слов под выпуклой луной
И образы людей исчезли предо мной,

И снова выплыл танцевод.
За ним толпа гуськом идет.
И не подруга — госпожа

За ручку каждого ведет
И каждый песенку поет:
«Проходит ночь,
Уходим прочь
В свои дома,
В подвалы.
А с вышины
Из глубины
Густых паров,
Глядит любовь
И движет солнцем
И землей,
Зеленокрасною луной,
Зеленокрасною водою».

1926

* * *

Мрак побелел, бледнели лица
Полуоставшихся гостей,
Казалось, город просыпался
Еще ненужней и бойчей.

Пред Вознесенской Клеопатрой
Он опьянение прервал,
Его товарищ на диване
Опустошенный засыпал.
И женщина огромной тенью,
Как идол, высилась меж них,
Чуть шевеля пахучей тканью
На красной пола желтизне.
А на столе сиял, как перстень,
Еще не допитый глоток.
Символ не-вечности искусства
Быть опьяненными всегда.

1926

* * *

От берегов на берег
Меня зовет она,
Как будто ветер блещет,
Как будто бьет волна.
И с птичьими ногами
И с голосом благим

Одета синим светом
Садится предо мной:
«Плывем мы в океане,
Корабль потонет вдруг,
На острова блаженных
Прибудем, милый друг.
И музыку услышишь,
И выйдет из пещер
Прельщающий движенье
Сомнамбулой Орфей.
Сапфировые косы,
Фракийские глаза,
А на устах улыбка
Придворного певца».
В стране Гипербореев
Есть остров Петербург,
И музы бьют ногами,
Хотя давно мертвы.
И птица приумолкла.
— Чирик, чирик, чирик —
И на окне, над локтем
Герани куст возник.

1926

* * *

Не лазоревый дождь,
И не буря во время ночное.
И не бездна вверху,
И не бездна внизу.
И не кажутся флотом,
Качаемым бурной волною,
Эти толпы домов
С перепуганным отблеском лиц.
Лишь у стекол герань
Заменила прежние пальмы
И висят занавески
Вместо тяжелых портьер.
Да еще поднялись
И засели за книгу,
Чтобы стала поменьше,
Поуютнее жизнь.
В этой жизни пустынной,
О, мой друг темнокудрый,
Нас дома разделяют,
Но, как птицы, навстречу

Наши души летят.
И встречаются ночью
На склоне цветущем,
Утомленные очи подняв.

1926

* * *

Дрожал проспект, стреляя светом,
Извозчиков дымилась цепь,
И вверх змеями извивалась
Толпа безжизненных калек.
И каждый маму вспоминает,
Вспотевший лобик вытирает,
И в хоровод детей вступает
С подругой первой на лугу.
И бонны медленно шагают,
Как злые феи с тростью длинной,
А гувернеры в отдаленье
Ждут окончанья торжества.
И змеи бледные проспекта
Ползут по лестницам осклизлым
И видят клети, в клетях лица
Подруг торжественного дня.
И исковерканные очи
Глядят с глубоким состраданьем
На вверх ползущие тела.
И прежним именем ласкают,
И в хоровод детей вступают
С распущенной косою длинной,
С глазами точно крылья птиц.

1926

III. СТИХИ 1927-1934 гг.

* * *

Я стал просвечивающей формой,
Свисающейся веткой винограда,
Но нету птиц, клюющих рано утром
Мои качающиеся плоды.
Я вижу длительные дороги,
Подпрыгивающие тропинки,
Разнохарактерные толпы
Разносияющих людей,
И выплывает в ночь Тептелкин,
В моем пространстве безызмерном
Он держит Феникса сиянье
В чуть облысевшей голове.
А на Москве-реке далекой
Стоит рассейский Кремль высокий,
В нем голубь спит
В воротничке,
Я сам сижу
На облучке,
Поп впереди — за мною гроб,
В нем тот же я — совсем другой,
Со мной подруга, дикий сад —
Луна над желтизной оград.

ПЕСНЯ СЛОВ

1

Старые слова поют:

Мы все сюсюкаем и пляшем
И крылышками машем, машем,
И каждый фиговый дурак
За нами вслед пуститься рад.

Молодые слова поют:

Но мы печальны, боже мой,
Всей жизни гибель мы переживаем:
Увянет ли цветок — уже грустим,
Но вот другой — и мы позабываем
Все, все, что было связано с цветком:
Его огней минутное дыханье,
Строенье чудное его
И неизбежность увяданья.

Старые слова поют:

И уши длинные у нас.
Мы слышим, как растет трава,
И даже солнечный восход
В нас удивительно поет.

Вместе старые и молодые:

Пусть спит купец, пусть спит игрок,
Над нами тяготеет рок.
Вкруг Аполлона пляшем мы,
В высокий сон погружены,
И понимаем, что нас нет,
Что мы словесный только бред
Того, кто там в окне сидит
С молочницею говорит.

2

Я девой нежною была,
Шлейф смысла за собой вела.
Любовь — вскричали мотыльки
И пали ниц, как васильки.
И слово за строкой плывет,
Вдруг повернется и уйдет.
Затем появится опять,
Возьми его и будешь тать,
Что взять никак не мог всего,
И взял, что годно для него.

3

Слово в театральном костюме:

Мне хорошо в сырую ночь
Блуждать и гаснуть над водой
И думать о судьбе иной,
Когда одет пыльцою был,
Когда других произносил
Таких же точно мотыльков,
В прах разодетых дурачков.
Дай ручку, слово, раз, два, три!
Хожу с тобою по земли.
За мною шествуют слова
И крылышки дрожат едва.
Как будто бы амуров рой
Идет во глубине ночной.

Куда идет? Кого ведет?
И для чего опять поет?
И тонкий дым и легкий страх
Я чувствую в своих глазах.
И вижу, вижу маскарад.
Слова на полочках стоят —
Одно одето, точно граф,
Другое — как лакей Евграф,
А третье — верный архаизм —
Скользит как будто бы трюкизм,
Танцует в такт и вниз глядит.
Там в городе бежит река,
Целуются два голубка,
Милиционер, зевнув, идет
И смотрит, как вода плывет.
Его подруга, как луна —
Ее изогнута спина,
Интеллигентен, тих и чист,
Смотрю, как дремлет букинист.
В подвале сыро и темно,
Семь полок, лестница, окно.
Но что мне делать в вышине,
Когда не холодно здесь мне?
Здесь запах книг,
Здесь стук жуков,
Как будто тиканье часов.
Здесь время снизу жрет слова,
А наверху идет борьба.

1927

<СТИХИ ИЗ РОМАНА «КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ»>

<1>

Где вы оченьки, где вы светлые.
В переулках ли, темных уличках
Разбежалися, да повернулися,
Да кровавой волной поперхнулися.
Негодяй на крыльце
Точно яблонь стоит,
Вся цветущая,
Не погиб он с тобой
В ночку звездную.
Ты кричала, рвалась
Бесталанная.
Один — волосы рвал,
Другой — нож повернул —
За проклятый, ужасный сифилис.

. . . .
. . . .

А друзья его все гниют давно,
Не на кладбищах, в тихих гробиках,
Один в доме шатается,
Между стен сквозных колыхается,
Другой в реченьке купается,
Под мостами плывет, разлагается,
Третий в комнате, за решеткою
С сумасшедшими переругивается.

<2>

Весь мир пошел дрожащими кругами
И в нем горел зеленоватый свет.
Скалу, корабль и девушку над морем
Увидел я, из дома выходя.

По Пряжке, медленно, за парой пара ходит,
И рожи липкие. И липкие цветы.
С моей души ресниц своих не сводят
Высокие глаза твоей души.

<3>

Лети в бесконечность,
В земле растворись,
Звездами рассыпься,
В воде растопись.

. . . .

Лети, как цветок, в безоглядную ночь,
Высокая лира, кружащая песнь.
На лире я точно цветок восковой
Сижу и пою над ушедшей толпой.

. . . .

Я Филострат, ты часть моя.
Соединиться нам пора.

. . . .

Пусть тело ходит, ест и пьет —
Твоя душа ко мне идет.

<4>

ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ

В разноцветящем полумраке,
В венке из черных лебедей
Он все равно б развеял знаки
Минутной родины своей.
И говорил: «Усыновлен я,
Все время ощущаю связь
С звездой сияющей высоко
И может быть, в последний раз.
Но нет, но нет, слова солгали,
Ведь умерла она давно.
Но как любовник не внимаю
И жду: восстанет предо мной.
Друг, отойди еще мгновенье...
Дай мне взглянуть на лоб златой,
На тонко вспененные плечи,
На подбородок кружевной.
Пусть, пусть Психея не взлетает —
Я все же чувствую ее
И вижу, вижу — вылезает
И предлагает помело.
И мы летим над бывшим градом,
Над лебединою Невой,
Над поредевшим Летним садом,
Над фабрикой с большой трубой.
Все ближе к солнечным покоям:
И плеч костлявых завитки,

Хребет синеющий и крылья
И хилый зад, как мотыльки.
Внизу все спит в ночи стоокой —
Дом Отдыха, Дворец Труда,
Меж томно-синими домами
Бежит философ, точно хлыст,
В пальто немодном, в летней шляпе
И, ножкой топнув, говорит:
«Все черти мы в открытом мире
Иль превращаемся в чертей.
Мне холодно, я пьян сегодня,
Я может быть, последний лист».
Тептелкин. встав на лапки, внемлет
И ну чирикать из окна:
«Бессмыслица ваш дикий хохот,
Спокоен я и снова сыт».
И пред окном змеей гремучей
Опять вознесся Филострат
И, сев на хвостик изумрудный,
Простором начал искушать.
Летят надзвездные туманы,
С Психеей тонкою несусь
За облака, под облаками,
Меж звездами и за луной.

<5>

Война и голод точно сон
Оставили лишь скверный привкус.
Мы пронесли высокий звон,
Ведь это был лишь слабый искус.

И милые его друзья
Глядят на рта его движенья,
На дряблых впадин синеву,
На глаз его оцепененье.

По улицам народ идет,
Другое бьется поколенье,
Ему смешон наш гордый ход
И наших душ сердцебиенье.

<6>

Нам в юности Флоренция сияла,
Нам Филострата нежного на улицах являла —
Не фильтрами мы вызвали его,

Не за околицей, где сором поросло.
Поэзией, как утро, сладкогласной
Он вызван был на улице неясной.

* * *

Слова из пепла слепок,
Стою я у пруда,
Ко мне идет нагая
Вся молодость моя.
Фальшивенький веночек
Надвинула на лоб.
Невинненький дружочек
Передо мной встает.
Он боязлив и страшен,
Мертва его душа,
Невинными словами
Она извлечена.
Он молит, умоляет,
Чтоб душу я вернул —
Я молод был, спокоен,
Души я не вернул.
Любил я слово к слову
Нежданно приставлять,
Гадать, что это значит,
И снова расставлять.
Я очень удивился:
— Но почему, мой друг,
Я просто так, играю,
К чему такой испуг?

Теперь опять явился
Перед моим окном:
Нашел я место в мире,
Живу я без души.
Пришел тебя проведать:
Не изменился ль ты?

1928

* * *

Тают дома. Любовь идет, хохочет
Из сада спелого эпикурейской ночи.
Ей снился юный сад
Стрекочущий, поющий,
Веселые, как дети, голоса
И битвы шум неясный и зовущий.

Как тяжела любовь в шестнадцать лет.
Ей кажется: погас прелестный свет,
И всюду лес встает ужасный и дремучий,
И вечно будет дождь и вечно будут тучи.

УКРАШЕНИЕ БЕРЕГОВ

Проспекты целятся стволами в зори;
Расплески зорь стекают по асфальту к нам,
И верфи их переливают в море,
В Неву, в озера, в Беломорканал.

Суровы берега, трудами взятые —
Мы их железным говором наполним:
Мы там поставим самые прямые статуи,
Которые когда-либо смотрели в волны.

В порту, где хрупкий край морской дороги
Упирается в медлительные реки,
Над постаментом праздничным и строгим
Прищурит Ленин бронзовые веки.

Легко поднимет чуткую ладонь,
Черпнув ветров высокое движенье,
И над зеленой утренней водой
До самой Лахты лягут отраженья.

Сойдет по кранам вниз обеденная смена,
Оправив звонкие одежды Ильича,
Рабочий спрячет пламень автогена,
Поднимется на ровный скат его плеча.

И там увидит, над заливом стоя,
Как город блещущий, бездонный, гулкий
Врастает красным мясом новостроек
В щетинистую даль от Токсова до Пулкова.

ЗВУКОПОДОБИЯ

* * *

Он разлюбил себя, он вышел в непогоду.
Какое множество гуляет под дождем народу.
Как песик вертится, и жалко и пестро
В витрине возлежит огромное перо.

Он спину повернул, пошел через дорогу,
Он к скверу подошел с решеткою убогой,
Где зелень нежная без света фонарей
Казалась черною, как высота над ней.

Но музыка нежданная раздалась
И флейта мирная под лампой показалась,
Затем рояля угол и рука
Игравшего, как дева, старика.

Гулявший медленно от зелени отходит
И взором улицу бегущую обводит.
Он погружается все глубже в непогоду,
Любовь он потерял, он потерял свободу.

* * *

Какою прихотью глупейшей
Казалась музыка ему.
Сидел он праздный и нахальный,
Следил, как пиво пьют в углу.
Стал непонятен голос моря,
Вся жизнь казалась ни к чему.
Он вспоминал — все было ясно,
И длинный, длинный коридор,
Там в глубине сад сладкогласный,
У ног подруг Психеи ясной
Стоит людей тревожный хор.
Как отдаленное виденье
Буфетчик, потом обливаясь,
Бокалы пеной наполнял,
Украдкой дымом наслаждаясь,
Передник перед ним сновал.

Февраль 1930

* * *

Хотел он, превращаясь в волны,
Сиреною блестеть,
На берег пенистый взбегая,
Разбиться и лететь.
Чтобы опять приподнимаясь,
С другой волной соединяясь,
Перегонять и петь,
В высокий сад глядеть.

Март 1930

* * *

Уж день краснеет точно нос,
Встает над точкою вопрос:
Зачем скитался ты и пел
И вызвать тень свою хотел?

На берега,
На облака
Ложится тень.
Уходит день.

Как холодна вода твоя
Летейская.
Забыть и навсегда забыть
Людей и птиц,
С подругой нежной не ходить
И чай не пить,
С друзьями спор не заводить
В сентябрьской мгле
О будущем, что ждет всех нас
Здесь на земле.

Март 1930

* * *

Он с каждым годом уменьшался
И высыхал
И горестно следил, как образ
За словом оживал.

С пером сидел он на постели
Под полкою сырой,
Петрарка, Фауст, иммортели
И мемуаров рой.

Там нимфы нежно ворковали
И шел городовой,
Возлюбленные голодали
И хор спускался с гор.

Орфея погребали
И раздавался плач,
В цилиндре и перчатках
Серьезный шел палач.

Они ходили в гости
Сквозь переплеты книг,
Устраивали вместе
На острове пикник.

Май 1930

* * *

Прекрасен мир не в прозе полудикой,
Где вместо музыки раздался хохот дикий.
От юности предшествует двойник,
Что выше нас и, как звезда, велик.

Но есть двойник другой, его враждебна сила —
Не впереди душа его носилась.
Плетется он за нами по пятам,
Средь бела дня подводит к зеркалам
И речь ведет за нас с усмешкою веселой
И, за руку беря, ведет дорогой голой.

* * *

I

Черно бесконечное утро,
Как слезы, стоят фонари.
Пурпурные, гулкие звуки
Слышны отдаленной зари.
И слово горит и темнеет
На площади перед окном,
И каркают птицы и реют
Над черным его забытьем.

II

Нет, не расстался я с тобою.
Ты по-прежнему ликуешь
Сияньем ненаглядных глаз.
Но не прохладная фиалка,
Не розы, точно ветерок,
Ты восстаешь в долине жаркой,
И пламя лижет твой венок.

И все, что ты в себе хранила
И, как зеницу, берегла,
Как уголь черный и невзрачный
Ты будущему отдала.
Но в стороне,
Где дым клубится,
Но в тишине
Растут цветы,
Порхают легкие певицы,
Дрожат зеленые листы.

* * *

На набережной рассвет
Сиреневый и неясный.
Плешивые дети сидят
На великолепной вершине.
Быть может, то отблеск окон
Им плечи и грудь освещает,
Но бледен, как лист, небосклон
И музыка не играет.

* * *

В повышенном горе
На крышах природы
Ведут музыканты
Свои хороводы.
Внизу обезьяны,
Ритма не слыша,
Пляшут и вьются
Томно и скушно.
И те же движенья,
И те же сомненья,
Как будто, как будто!
По градам и весям
Они завывают,
И нежно и сладко
Себя уважают.

* * *

Русалка пела, дичь ждала,
Сидели гости у костра,
На нежной палевой волне
Черт ехал, точно на коне.

Мне милый друг сказал тогда:
— Сидеть приятно у костра.
Как хорошо среди людей
Лишь видеть нежных лебедей.

Зачем ты музыку прервал? —
Мучительно он продолжал.
— Из круга вышел ты, мой друг,
Теперь чертям ты первый друг.

Вкруг сосен майские жуки
Ведут воздушный хоровод.
На холмах дачные огни
Вновь зажигает мотылек.

— Вернитесь, нимфы, — он вскричал, —
Высокая мечта, вернись!
Зачем ты отнял жизнь мою
И погрузил меня во тьму?

Вскочили гости: — Что опять!
Как непристойно приставать.
Чего вам надо, жизнь проста,
Да помиритесь, господа.

Когда уснули все опять,
Мой друг чертей мне показал.
— Тебя люблю, — я отвечал, —
Хотел тебя я вознести,
В высокий храм перенести,
Но на пути ты изнемог,
От смеха адского продрог.
Я бился, бился и взлетал,
С тобою вместе в ров упал.
Но будет, будет вновь полет.

В ночных рубашках мотыльки
Гасили в окнах огоньки.

* * *

Звукоподобие проснулось,
Лицом к поэту повернулось
И медленно, как автомат,
Сказало:

Сегодня вставил ты глаза мне
И сердце в грудь мою вогнал.

Уже я чувствую желанье,
Я, изваянье,
Перехожу в разряд людей.

И стану я, как вы, загадкой,
И буду изменяться я,
Хоть волосы мои не побелеют,
Иначе будут петь глаза.

Быть может, стану я похоже
На жемчуг, потерявший цвет,
И полюбить меня не сможет
Эпохи нашей человек.

Я ухожу, меня проклянешь
И постараешься отнять
Глаза Психеи, сердце вынуть
И будешь в мастерскую звать.

Теперь враги мы. Безнадежно
— Остановись! — воскликнешь ты.
Звукоподобие другое
Ты выставишь из темноты.

Оно последует за мною
Быть может враг, быть может друг,
Мы будем биться иль ликуя
Покажем мы пожатье рук.

* * *

«Как жаль, — подумалось ему, —
«Осенний ветер... ночи голубые...
«Я разлюбил свою весну.
«Перед судилищем поэтов
«Под снежной вьюгой я стоял,
«И каждый был разнообразен,
«И я был как живой металл,
«Способен был соединиться
«И золото, вобрав меня,
«Готово было распуститься
«Цветком прекрасным,
«Пришла бы нежная пора
«И с ней бы солнце появилось,
«И из цветка бы, как роса,
«Мое дыханье удалилось».

Март 1931

* * *

I

За годом год, как листья под ногою,
Становится желтее и печальней.
Прекрасной зелени уже не сохранить
И звона дивного любви первоначальной.

И робость милая и голоса друзей,
Как звуки флейт, уже воспоминанье.
Вчерашний день терзает как музей,
Где слепки, копии и подражанья.

II

Идешь по лестнице, но листья за тобой
Сухой свой танец совершают
И ласковой, но черною порой,
Как на театре хор, перебегают.

Апрель 1931

НОЧНОЕ ПЬЯНСТВО

И точно яблоки румяны
И точно яблоки желты,
Сидели гости на диване,
Блаженно раскрывая рты.
Собранье пеньем исходило:

Сперва madame за ним ходила,
Потом monsieur ее сменил...

Декольтированная дама,
Как непонятный сфинкс, стояла,
Она держала абажур,
На нем Психея и Амур,
Из тюля нежные цветочки
И просто бархатные точки.
Стол был ни беден, ни богат,
Картофельный белел салат.
И соловей из каждой рюмки
Стремглав за соловьем летел.
Раскланиваясь грациозно,
Старик пленительный запел:

Зачем тревожишь ночью лунной
Любовь и молодость мою.
Ведь девушкою легкострунной
Своей души не назову.
Она веселая не знала,
Что ей погибель суждена.
Вакханкой томною плясала
И радостная восклицала:
— Ах, я пьяна, совсем пьяна!.
И полюбила возноситься,
Своею легкостью кичиться,
Пчелой жужжащею летать,
Безмолвной бабочкой порхать...
И вдруг на лестнице стоять.
Теперь, усталая, не верит
В полеты прежние свои
И лунной ночью лицемерит
Там, где свистали соловьи.

Старик пригубил.
Смутно было.
Луна над облаком всходила.
И стало страшно, что не хватит
Вина средь ночи.

ГОЛОС

Столица глядела
Развалиной.
Гражданская война летела
Волной.
И Нэп сошел и развалился
В Гостином пестрою дугой.
Самодовольными шарами
Шли пары толстые.
И бриллиантами качали
В ушах.
И заедали анекдотом
И запивали опереттой
Борьбу.
В стекло прозрачное одеты,
Огни мерцали.
Растраты, взятки и вино
Неслись, играя в домино.
Волнующий и шелестящий
И бледногубый голос пел,
Что чести нет.

И появлялся в кабинете
В бобры мягчайшие одет;
И превращался в ресторане
Он в сногсшибательный обед.
И, ночью, в музыкальном баре
Нарядной девою звучал
И изворотливость веселую,
Как победителя ласкал.

* * *

Пред Революцией громадной,
Как звезды, страны восстают.
Вбегает негр.

Высокомерными глазами
Его душа окружена,
Гарлема дикими ночами
Она по-прежнему пьяна.

Его мечты: разгладить волос,
И кожи цвет чтоб был белей,
Чтоб ласковый ликерный голос
Пел о любви.

Неясным призраком свободы
Он весь заполонен.
Вино и карты и блужданье
Свободою считает он.

Идет огромный по проспекту,
Где головы стоят,
Где комсомольцы, комсомолки
Идут как струнный лад.

И государственностью новой
Где человек горит,
Надеждою неколебимой,
Что мир в ответ звучит.

* * *

Психея дивная,
Где крылья голубые
И легкие глаза
И косы золотые.

Как страшен взгляд очей испепеленный,
В просторы чистые по-прежнему влюбленный.
В ужасный лес вступила жизнь твоя.
Сожженная, ты вспыхивать обречена
И легким огоньком то здесь, то там блуждаешь,
И путника средь ночи увлекаешь.

НАРЦИСС

Он не был пьян, он не был болен —
Он просто встретил сам себя
У фабрики, где колокольня
В обсерваторию превращена.

В нем было тускло и спокойно
И не хотелось говорить.
Не останавливаясь, хладнокровно
Пошел он по теченью плыть.

Они расстались, но встречались
Из года в год. Без лишних слов
Неловко головой качали.
Прошла и юность и любовь.

* * *

Золотые глаза,
Точно множество тусклых зеркал,
Подымает прекрасная птица.
Сквозь туманы и свисты дождя
Голубые несутся просторы.

Появились под темным дождем
Два крыла быстролетной певицы,
И томимый голос зажег
Бесконечно утлые лица.

И запели пленительно вдруг
В обветшалых телах, точно в клетках,
Соловьи об убитой любви
И о встречах, губительно редких.

* * *

Он с юностью своей, как должно, распрощался
И двойника, как смерти, испугался.

Он в круг вступил и, мглою окружен,
Услышал пред собой девятиструнный стон.

Ее лица не видел он,
Но чудилось — оно прекрасно,
И хор цветов и голоса зверей
Вливались в круг, объятый ночью властной.

И появилось нежное лицо,
Как бы обвеянное светом.
Он чувствовал себя и камнем и свинцом,
Он ждал томительно рассвета.

* * *

Всю ночь дома дышали светом,
Весь город пел в сиянье огневом,
Снег падал с крыш, теплом домов согретый,
Невзрачный человек нырнул в широкий дом.

Он, как и все, был утомлен разлукой
С своей душой,
Он, как и все, боролся с зябкой скукой
И пустотой.

Пленительны предутренние звуки,
Но юности второй он тщетно ждет
И вместо дивных мук — разуверенья муки
Вокруг него, как дикий сад, растут.

* * *

Подделки юную любовь напоминают,
Глубокомысленно на полочках стоят.
Так нежные сердца кому-то подражают,
Заемным опытом пытаются сиять.

Но первая любовь, она благоухает,
Она, безумная, не хочет подражать,
И копии и слепки разбивает,
И пеньем наполняет берега.

Но копии, но слепки, точно формы,
Ее зовут, ее влекут,
Знакомое предстанет изваянье,
Когда в музей прохожие войдут.

1933

* * *

Кентаврами восходят поколенья
И музыка гремит.
За лесом, там, летающее пенье,
Неясный мир лежит.

Кентавр, кентавр, зачем ты оглянулся,
Копыта приподняв?
Зачем ты флейту взял и заиграл разлуку,
Волнуясь и кружась?

Везенья нету в жаркой бездне,
Кентавр, спеши.
Забудь, что ты был украшеньем,
Или не можешь ты?

Иль создан ты стоять на камне
И созерцать
Себя и мир и звезд движенье
И размышлять.

* * *

Норд-ост гнул пальмы, мушмулу, маслины
И веллингтонию, как деву, колебал.
Ступеньки лестниц, словно пелерины,
К плечам пришиты были скал.

По берегу подземному блуждая,
Я встретил соловья, он подражал
И статую из солнечного края
Он голосом своим напоминал.

Я вышел на балкон подземного жилища,
Шел редкий снег и плавала луна,
И ветер бил студеным кнутовищем,
Цветы и травы истязал.

Я понял, что попал в Элизиум кристальный,
Где нет печали, нет любви,
Где отраженьем ледяным и дальним
Качаются беззвучно соловьи.

1933. Крым

ЮЖНАЯ ЗИМА

Как ночь бессонную зима напоминает,
И лица желтые, несвежие глаза,
И солнца луч природу обольщает,
Как незаслуженный и лучезарный взгляд.

Среди пытающихся распуститься,
Средь почек обреченных он блуждал.
Сочувствие к обманутым растеньям
Надулось в нем, как парус, возросло.

А дикая зима все продолжалась,
То падал снег, то дождь, как из ведра,
То солнце принуждало распускаться,
А под окном шакалы до утра.

Здесь пели женщиной, там плакали ребенком,
Вдруг выли почерневшею вдовой,
И псы бездомные со всех сторон бежали
И возносили лай сторожевой.

Как ночь бессонную зима напоминает,
Камелии стоят, фонарь слезу роняет.

1933

* * *

Почувствовал он боль в поток людей глядя,
Заметил женщину с лицом карикатурным,
Как прошлое уже в ней узнавал
Неясность чувств и плеч скульптурность,

И острый взгляд и кожи блеск сухой.
Он простоял, но не окликнул.
Он чувствовал опять акаций цвет густой
И блеск дождя и воробьев чириканье.

И оживленье чувств, как крепкое вино,
В нем вызвало почти головокруженье,
Вновь целовал он горький нежный рот
И сердце, полное волненья.

Но для другого, может быть, еще
Она цветет, она еще сияет,
И, может быть, тот золотым плечом
Тень от плеча в истоме называет.

* * *

Вступил в Крыму в зеркальную прохладу,
Под градом желудей оркестр любовь играл.
И, точно призраки, со всех концов Союза
Стояли зрители и слушали Кармен.

Как хороша любовь в минуту увяданья,
Невыносим знакомый голос твой,
Ты вечная, как изваянье,
И слушатель томительно другой.

Он, как слепой, обходит сад зеленый
И трогает ужасно лепестки,
И в соловьиный мир, поющий и влюбленный,
Хотел бы он, как блудный сын, войти.

Декабрь 1933, Ялта

ЛЕНИНГРАД

Промозглый Питер легким и простым
Ему в ту пору показался.
Под солнцем сладостным, под небом голубым
Он весь в прозрачности купался.

И липкость воздуха и черные утра,
И фонари, стоящие, как слезы,
И липкотеплые ветра
Ему казались лепестками розы.

И он стоял, и в северный цветок,
Как соловей, все более влюблялся,
И воздух за глотком глоток
Он пил — и улыбался.

И думал: молодость пройдет,
Душа предстанет безобразной
И почернеет, как цветок,
Мир обведет потухшим глазом.

Холодный и язвительный стакан,
Быть может, выпить нам придется,
Но все же роза с стебелька
Нет-нет и улыбнется.

Увы, никак не истребить
Виденья юности беспечной.

И продолжает он любить
Цветок прекрасный бесконечно.

Январь 1934

* * *

В аду прекрасные селенья
И души не мертвы.
Но бестолковому движенью
Они обречены.

Они хотят обнять друг друга,
Поговорить...
Но вместо ласк — посмотрят тупо
И ну грубить.

Февраль 1934

ПРИЛОЖЕНИЕ[1]

К.К.ВАГИНОВ.
Автобиография — РО ИРЛИ, Р I, оп. 2, л. 1.

Родился в Петербурге в 1899 г. Девяти лет поступил в гимназию Гуревича, которую и кончил в начале Буржуазной Революции. После окончания поступил в Университет, откуда и был взят в Красную Армию, в которой пробыл до 1922 г. Начал писать в 1916 г. под влиянием «Цветов зла» Бодлера. В детстве любил читать Овидия, Эдгара По и Гиббона. Печатаюсь [с] 1921 г. Состоял во всех петербургских поэтических объединениях: Цех поэтов, Островитяне, Зв. Раковина и пр.

Вагинов К.
<1921>

Г.А[ДАМОВИЧ].
Памяти К.Вагинова — Последние новости. 1934. № 4830. С. 3.

Петербург, 1920 или 1921 год. Поэтическая студия Гумилева: слушатели в шубах и валенках; стаканы жидкого остывшего чая с сахарином; разговоры о ритме поэм Леконт де Лиля или о португальской лирике XIV века... Вагинов сидел сгорбившись, что-то записывал, иногда что-то бормотал себе под нос и оживлялся только тогда, когда начиналось чтение стихов. Был он маленький, нескладный, щуплый, с зеленоватым цветом лица, почти сливавшимся с цветом гимнастерки, и большими, добрыми, влажными глазами. Всегда со всеми соглашался, всегда улыбался, — чуть-чуть растерянно и застенчиво.

Стихи читали подряд — как сидели. Гумилев благодушно одобрял, вежливо и высокомерно порицал, если замечал какие-либо отступления от внушаемых им принципов. Стихи Вагинова вызывали в нем сдержанное, бессильное раздражение. Они поистине были «ни на что не похожи»; никакой

1 Материалы Приложения подготовлены при участии Д.Д.Силявченко.

логики, никакого смысла; образы самые нелепые; синтаксис самый фантастический... Иногда хотелось рассмеяться, махнуть рукой. Но за чепухой вагиновского текста жила и звенела какая-то мелодия, о которой можно было повторить, что

Ей без волненья Внимать невозможно.

Гумилев это чувствовал. Он понимал, что у других его учеников, только что продекламировавших стихи гладкие и безупречные, нет именно того, что есть у Вагинова. Его сердило, что он не может убедить Вагинова писать иначе... А тот улыбался, соглашался, смущался, — и на следующий день приносил новое стихотворение, еще «безумнее» прежних, но и еще музыкальнее.

За эту музыку — за грустную и нежную мелодию его стихов — Вагинова все любили. Он не стал, конечно, большим поэтом. Но в его сборниках — больше обещаний, нежели во многих книгах известных мастеров.

В советской литературе он был одинок. Две повести, выпущенные им в последние годы, вызвали ожесточенную брань со стороны критики. По-своему, критика была, пожалуй, права. Но на Вагинова ее поучения производили столь же слабое впечатление, как и упреки Гумилева.

Несколько друзей написали о нем сочувственные строки только теперь, когда его уже нет. Поступок смелый и благородный, по теперешним временам: не всякий рискнет навлечь на себя гнев «власть имущих» ради мертвеца.

Вагинов долго болел, но до последних дней не переставал писать стихи, такие же непонятно-певучие, как и те, что писал еще мальчиком.

[И.М.НАППЕЛЬБАУМ. Предисловие к сборнику «Звучащая Раковина»]

Памяти нашего друга и учителя Н.С.Гумилева

Понемногу у тех случайных слушателей, которые пришли в Дом Искусств осенью 1920 года заниматься у Н.С.Гумилева, появилась потребность более близкого и замкнутого общения друг с другом — таким образом зародилась Звучащая Раковина.

Естественно, что у кружка нет никакой поэтической платформы, нет общего credo.

То, что объединяет нас, гораздо интимнее. Это большая и строгая любовь к поэзии и самый живой интерес к проявлению ее у каждого.

Звучащая Раковина очень легко и радостно объединяет и символистов, и акмеистов, и романтиков.

Вот этой-то широкой беспартийностью своих взглядов Звучащая Раковина может быть более всего обязана своему почетному синдику Гумилеву.

Должно быть, на первый взгляд, все эти стихи не покажутся такими разнородными, каковы они есть, а, напротив, подверженными влиянию общей школы, и только внимательный глаз заметит отличительные черты не только разных индивидуальностей, но и течений.

ВЛ. ХОДАСЕВИЧ.
Парижский альбом, II — Дни. 1926. 13 апр.

<...> Стихи, которые Вагинов читал в кружке «Звучащая раковина» и на «Наппельбаумовских понедельниках», были довольно несуразны, до последней степени метафоричны, и до смысла в них трудно было добраться. Но в самой несвязице вагиновских стихов было что-то свое, она была как-то своеобразно окрашена. Наконец, звучала в них подлинная ритмичность, они были к тому же хорошо инструментованы. Словом, казалось, что из него выйдет толк. Так смотрели многие, в том числе Гумилев. <...>

В.ЛУРЬЕ.
Петроградское — Дни. 1923. № 232. С. 12.

<...> в литературном Петрограде <...> крайне мало талантливой молодежи <...> но несомненно двое из них не пройдут бесследно для истории русской поэзии нашей эпохи — и эти двое Николай Тихонов и Константин Вагинов.

<...> Вагинова еще никто не знает; в Петрограде вышел всего один сборник его стихов — «Путешествие в хаос»; но, несомненно, со временем имя его станет известно широкой публике.

<...>

С Константином Вагиновым мы познакомились осенью 1921 года, на лекциях в «Доме Искусства». Маленького роста, худой, с детской улыбкой и грустными карими глаами, он носил коричневый френч, а поверх него огромную шинель отца-полковника, в которой он жалко утопал.

Своим ко всему серьезным отношением, желанием прислушаться и понять другого, найти в каждом подлинное и талантливое, он напоминает мне Бориса Пастернака.

Стихи Вагинов пишет почти ежедневно, обычно циклами, затем переписывает их в крохотные книжки из цветной бумаги, с пестрой обложкой. Он символист; ключ к понима-

нию своих стихов часто находит лишь после их написания; тогда вокруг одного основного стихотворения создает целый стихотворный цикл, причем последние стихи его циклов бывают обычно проясненнее первых; таким образом у Вагинова в творческом процессе — два периода: первый, когда он пишет непонятное, затем второй, когда от непонятного переходит к проясненным произведениям.

Как-то мы писали с Вагиновым коллективно стихотворение; у него крайне забавная манера писать: строчки он нанизывает, подбирая слова по звуковой близости, или приятности красок; произведения его насыщены крайне неожиданными образами, часто в них сквозил что-то романсовое; Вагинов почти не пользуется чистой рифмовкой, считая ее чересчур законченной и резкой, а предпочитает ассонансные окончания. Также он избегает однородного метра и в особенности любит смешивать разностопные ямбы.

<...> перед моим отъездом за границу у меня в комнате организовывался кружок поэтов, сборник которых был: «Островитяне».

<...> Первый номер «Островитян» был отпечатан до моего отъезда, на пишущей машинке; кроме произведений вышеуказанных поэтов [Тихонов, Вагинов, Колбасьев] и моих, в него вошли еще стихи <...> П.Волкова <...>, Ф.Наппельбаум и приехавшей из Одессы талантливой поэтессы К.Левашовой.

<...>

Славные это были встречи: у меня на Мойке собирались поздно, часам к одиннадцати, сидели до двух с половиной часов ночи (позже трех часов ходьба по городу не разрешалась!). Топили печурку сырыми дровами, курили скверные папиросы, пили без конца чай, очень невкусный; если доставали еще хлеб, масло и сахар, то чувствовали себя совсем на пиршестве. Читали свои произведения, говорили о них и о задачах создаваемого журнала. Часто Колбасьев рассказывал свои фантастические путешествия и приключения.

Если читались стихи, то Вагинова просили последним; у него был всегда столь огромный запас произведений, что мы боялись, как бы после него никому уже не останется времени читать.

Костя, маленький и уютный, садился обычно на полу у чьих-нибудь ног; Колбасьев, довольный собой, своим костюмом моряка и своими рассказами, разваливался в кресле; Тихонов был прям, молчалив и сдержан; оживлялся лишь при чтении стихов, тогда хорошо и просто улыбался всем широким, некрасивым лицом.

ТИХОНОВ Н.С.
Автобиография (1921-1922) — РО ИРЛИ, Р 1, оп. 27, ед. хр. 32.

<...>
В 1921 г. вместе с поэтами К.Вагиновым, П.Волковым и С.Колбасьевым основал поэтическое содружество «Островитяне», ставившее себе задачу борьбу с духом академизма и цеха в поэзии, комнатного затворничества.

Люди сейчас маленького роста. Танк в тысячу раз больше сердца. Миллионы аршин кожи разорвала колючая проволока. Но и танки, и проволока, и радиотелеграф, и [колоссальные?] крейсера сделаны руками, из которых ни одна не длинней винтовки. Нужно видеть не только то, что вокруг нас, но и внутри. Мы хотели только не идти безоружно и ни во что не верить слепо. И потом мы приветствовали систему и рычаги системы. Это не слабость. Есть корабли, построенные в Ливерпуле, которые всегда ходят только по линии Индийского океана, но они строены по закону корабля. Мы знаем [знали?], что во всех странах есть сейчас островитяне. И мы помнили: из островов растут материки.
<...>

Афиша «Кольца поэтов» — РО ИРЛИ, ф. 282, ед. хр. № 91, л. 5.

КОЛЬЦО ПОЭТОВ имени К.М.Фофанова

(Anello poetarum nomini K.M.Fofanovi)

Смиренский, Скорбный, Позняков, Измайлов, Гордин, Тиняков, К.Фофанов и К.Маньковский, Шишков, Богданов, Березовский, Муран, Ахматова, Ясинский, К.Одинцов, Кузмин, Волынский, В.Пяст, А.Белый, М.Матвеев, М.Кауфман, Б.Тимофеев, Б.Розов, де-Ламар, Сабанский, Максимов, Кравченко, Сперанский, Рождественский, Юркун, Андреев, М.Шкапская и Н.Матвеев, В.Милашевский, Н.Шульговский, Митрохин, Ремизов и Шкловский, В.Лебедев, В.Шершеневич, К.Вагинов, В.Ходасевич, Павлович, Ховин, Зоргенфрей, Г.Римский, Нельдихен Сергей, Ф.Сологуб, Н.Жандаров, Буренин, Я.Гребенщиков И дальше, дальше без конца Все члены нашего кольца.

Составлено к годовщине Кольца Поэтов имени К.М.Фофанова Андреем Скорбным

Р.Ц. № 848 MCMXXII. «Кольцо поэтов» Петербург — Pietrobourgo.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ.
Среди стихов — Печать и революция. 1922. Книга шестая (июль-август). С. 292.

<...> отдыхаешь хотя бы на самых несовершенных попытках свернуть в сторону с давно заржавевших рельс. Такой попыткой, — хотя именно «весьма несовершенной», — представляются книги «островитян», — по-видимому, новой группы петербургских поэтов. Пока «островитян» объявилось только трое: двое из них, Н.Тихонов и С.Колбасьев, напечатали по тоненькому сборничку стихов, а все втроем, с участием К.Вагинова, издали маленький альманах из 17 стихотворений. Определенной программы в стихах островитян пока нет: единственное, что их роднит между собой, это — попытки выбиться из шаблона эпигонов символизма. К.Вагинов подходит к этой задаче немного через футуризм, беря у футуристов преимущественно приемы образа. Отдельные строки в стихах Вагинова интересны, но образы между собой не согласованы и стих, несмотря на нарочитые аллитерации, тускл и не звучен. <...>

В.Р[ОЖДЕСТВЕНСКИЙ].
[Рец. на:] Островитяне. Альманах стихов. Изд. Островитяне, стр. 43. Петер. 1921; К.Вагинов. Путешествие в Хаос. Изд. «Кольца Поэтов», стр. 29. MCMXXI. Петер.; С.Колбасьев. Открытое море. (Петербургская поэма). Изд. Островитяне, стр. 30. Петер. 1922 — Книга и революция. 1922. № 7 (19). С. 63-64.

«Островитяне» пожелали стать робинзонами нового клочка земли. Их трое — К.Вагинов, С.Колбасьев и Ник. Тихонов. Они очень непохожи друг на друга, но общий язык у них несомненно есть, хотя бы для рабочей песни, с которой веселей разбивать твердые комья едва пропаханного поля. Что характерно для «Островитян»? Пылкий интерес к пестрой смене событий и то, чем мы увлекались когда-то у Жюль-Верна и Стивенсона: желание из конца в конец пройти «таинственный остров», построить хижину своими руками.

«Островитяне» не жили еще и года на своем «таинственном острове», едва успели обзавестись орудиями самой первобытной культуры, но им уже приятно первыми протаптывать тропинки и укрощать мустангов.

Интересен К.Вагинов. Стихи его бред, конечно, но какой заставляющий себя слушать бред! Хорошей болезнью встряхнуло Вагинова — он потерял чувство обычного пространства и обычного времени. Широко раскрытыми глазами смотрит <он> на райские леса, которыми зарастают городские

площади, и в трамвайном лязганье слышит колокольчики кочевого Багдада.

Логические несообразности Вагинов часто оправдывает верностью своего звукового рисунка — редкий пример фонетического воображения. На этом построена дикая книжка «Путешествие в Хаос», книжка очень юная, плохого вкуса, но живая несомненно. <...>

<...> Мне думается, весь Вагинов — это рассказывание снов, прекрасных и тающих неуловимо. Его нередко бескрылые слова — тревожная недосказанность.

Я вместе с Чеховым не люблю гладкости и трезвого равновесия. Мне по душе люди с недостатками, а поэты в особенности. В наше культурное время большая роскошь оступиться на гладкой дороге. Ошибки Вагинова приятны. Они по существу: от неумения, а не от непонимания. Ему нужно прежде всего смыть запах дешевых духов и перестать курить папиросы с опиумом («О заверни в конфетную бумажку Храм Соломона...» и т.д.). «Увидеть по-новому» — самая дорогая возможность для поэта.

<...> Мне думается, что «Островитян» роднит крепкое пристрастие к земле. И это, конечно, оттого, что родились они в прекрасное время войны и революции.

Да будет им дано чувствовать, как в грубых человеческих руках поет и бьется горячее тело Жизни!

Д.ВЫГОДСКИЙ.

[Рец. на:] Островитяне — Жизнь искусства. 1922 г. 23 мая. № 20[1].

<...> Три книжки, которые успели издать «Островитяне», и то сравнительно немногое, что написано ими, но еще не опубликовано, позволяют с полной уверенностью сказать, что появление их обещает многое.

<...> Еще лучшее в них то, что они не школа, не партия, связанная какими-либо программами и правилами, ложными или неложными.

Четыре «островитянина» — Н.Тихонов, С.Колбасьев, П.Волков, К.Вагинов — четыре различных устремления, почти противуположных, четыре стороны света. И нисколько не похожи они друг на друга в приемах и методах своей работы, своих поэтических построений. Многоразличны также и традиции их, дрожжи, на которых они поднялись. Если

1 На той же полосе — статья Н.Тихонова «Граненые стеклышки», направленная против «Цеха поэтов», в частности, с недоумением, почему в 3-м альманахе «Цеха поэтов» нашел место «островитянин Вагинов» и другие, «чуждые по духу Цеху», поэты. — *Примеч. сост.*

говорить о предшественниках, с которыми связывают их узы родства, то придется назвать и Гумилева, и Ахматову, и Мандельштама, и Есенина, и Кузмина, и Блока и т. д.

<...> Если Тихонов и Колбасьев близки друг к другу той динамикой и бодрой стремительностью, которая в них обоих есть, то совсем в стороне от них К.Вагинов. — Первые двое целиком во вне, они движутся во внешнем мире. К.Вагинов — весь в себе. Он даже «перевернул глаза и осмотрелся», осмотрел себя внутри.

Его стих держится на эвтонических приемах. Слова сочетаются друг с другом не по слоговой, а по звуковой ассоциации: крутись — карусель — семя, градом — огород, Монтекристо — скрипка и т. д. и т. д. Поэтому слова у него часто остраняются, теряют обычное значение и сочетание их часто выпирает из обычных логических схем.

И.ГРУЗДЕВ.

[Рец. на:] «Звучащая раковина» Сб. стихов. Петер. 1922. Стр. 98 — Книга и революция. 1922, № 7 (19). С. 60-61.

Сборник стихов в большинстве еще очень юных поэтов издан с претенциозной роскошью.

Это может помешать многим взглянуть внимательно на самые стихи и оценить в них то, то является залогом будущего развития.

<..> Та или иная группа может образовать школу, если поэты, ее составляющие, при индивидуальной свободе будут пользоваться некоторыми одинаковыми приемами.

<...> Если же программа школы детализируется, новаторство ее членов иссякает, все большее и большее число приемов становится общеобязательным, тогда школа превращается в «цех», не в метафорическом значении этого слова, а в буквальном.

Авторы сборника напрасно опасаются, что стихи их покажутся «подверженными влиянию общей школы» (предисловие).

Школа Н.С.Гумилева (тоже не в переносном, а в прямом значении слова — авторы сборника получили от мастера первые уроки поэтической грамоты) не обязала их общностью письма.

<...> один из наиболее интересных авторов — Константин Вагинов. По нескольким стихотворениям еще трудно говорить о его творчестве, можно отметить лишь некоторые элементы. У него есть подкупающая лиричность. В стихотворении «У милых ног венецианских статуй» он еще усиливает ее приемом лирического повторения (которым так хорошо пользуется, между прочим, Сергей Есенин).

<...>

В других стихотворениях Вагинова лиричность заглушается метафорической образностью, несколько отвлеченной, отдающей холодком малопонятной абстракции <...>

Л.ЛУНЦ.

Новые поэты. [Материалы для несостоявшегося издания: Ирида. Литературная газета под редакцией А.Г.Фомина, 1922 г.] — РО ИРЛИ, ф. 568, оп. 1, № 125, л. 218, 221.

Петербургские любители, посещавшие поэтические вечера в «Доме Искусств» и в «Доме Литераторов», уже давно знают Оцупа, Одоевцеву и Нельдихена. <...>

Но вот вышли три сборника — «Ушкуйники», «Звучащая Раковина», «Островитяне» — объединяющие новичков, никому не известных.

Почти все — ученики Гумилева. Этот большой поэт и замечательный учитель оказал громадное влияние на всю петербургскую молодежь. Он, как никто, вытравлял из ученика все пошлое. Но никогда не навязывал ему своего. Он не был узким фанатиком, каким его любили выставлять представители других поэтических течений.

И никто из его учеников не подражает открыто. Но, по-моему, это не достоинство, а недостаток. <...>

<...> на «Островитянах» — Вагинове и Колбасьеве можно остановиться дольше. Они выпустили по отдельной книжке стихов. Обе брошюры несовершенные, ученические, но в обеих слышится живая поэтичность.

Вагинов идет за Мандельштамом. Он тоже отметает логическое движение стиха, заменяя его фонетическим. <...> Вагинов тоже пытается управлять большими звуковыми массами, строить бессмысленное, но строгое фонетическое здание.

Для этого надо быть Мандельштамом. Вагинов же, сцепляя строки, довольствуется простыми звуковыми ассоциациями. <...>

Тем не менее, в каждой строке Вагинова чувствуется сырая, еще не нашедшая себя, но подлинная поэтическая острота. <...>

М.КУЗМИН.

Парнасские заросли — Завтра. Литературно-критический сборник под редакцией Е.Замятина, М.Кузмина и М.Лозинского. Берлин. 1923. С. 121-122.

<...> Среди бестрепетных стихотворных упражнений поэтический ток узнается по какой-то дрожи в голосе <...>, по неловкости движений подростка. <...> кажется мне, что настоящий поэт зреет в К.Вагинове.

<...> на глазах развивающееся дарование К.Вагинова <...>

(Сентябрь 1922)

НИКОЛАЙ ОЦУП.
О поэзии и поэтах в СССР — Числа, 1933. С. 236-237.

<...> Из поэтов, «вскормленных революцией», мы знали Тихонова. Знали Нельдихена <...> Знали Вагинова, тогда еще мальчика-декадента с остротой и своеобразием, если и не развившимся с тех пор, то все же, судя по нескольким недавним стихотворениям, и не утраченным. Знали Липавского, одну из «надежд», бесследно пропавших. <...>

ОРЕСТ ТИЗЕНГАУЗЕН.
Салоны и молодые заседатели Петербургского парнасса — Абраксас. 1922. Окт. № 1. С. 59-61.

Если в Москве вся литературная жизнь ютилась у подъездов и на эстрадах кафэ, то в Петербурге, наиболее живая часть ее сосредоточивалась в салонах, положим только с тех пор, как некогда передовой и тяжеловесный Дом Искусств начал танцевать умирающего лебедя <...>

Звучащая Раковина определившийся салон, заставивший о себе говорить, достоин некоторого более внимательного отношения.

Звучащая Раковина, как и Цех Поэтов, находится под сильным влиянием Гумилева. <...> Сборник «Звучащая Раковина» единственный материал, дошедший до широкой публики <...> конечно книга, о которой говорить нужно шепотом, а если и громко, то заведомо зная, что испортишь свою репутацию. Слишком много там Горфинкелей, Столяровых, Лурье и т.д., заслоняющих несомненно талантливые стихи Фредерики Наппельбаум и почти прекрасные Константина Вагинова.

<...>

Константин Вагинов совсем определившийся и совершенно законченный мастер, может быть один из крупнейших поэтов наших дней. Вагинов умеет находить и нашел настоящие слова, и не носит той поэтической маски, созданной Гумилевым для своих учеников и называемой акмеизмом.

Как форм-либрист[1] Константин Вагинов целиком отрекается от акмеизма и умеет говорить, что сам себе хозяин.

1 Форм-либризм — от forme libre (фр.), свободная форма — направление, изобретенное, очевидно, самим Тизенгаузеном, в том же номере альманаха поместившим свою «Декларацию форм-либризма».— *Примеч. сост.*

Претенциозность на первый взгляд, и даже декадентский выбор тем при внимательном всматривании кажется нам волнующе-новым и совершенным, потому что сказано им первым. Большая работа поэта позволяет и прощает ему многое-многое, и ребячливое пользование метром:

«Мой милый друг, сладка твоя постель и плечи...» — строка, написанная шестистопным ямбом, в то время как перечисление и мелкие слова, как например: «...твоя постель и плечи», не непременно по смыслу связанные, требуют короткостопной хореической строки.

Константину Вагинову бесспорные достижения акмеистов: выхоленность enjambement, поэмы, написанные асклепиадовым семнадцатисложником, тридцатитрехсложные танки или недоступный санскрит, или преднамеренно им забытый.

Константин Вагинов единственный поэт, знающий метр, как «кровь стиха», рифму как «дыхание его», содержание как «биение трепетного сердца»[1]. Он единственный умеет любить... и уложить в коробки невыразимой прелести все слова, зная их тайный смысл, чувствуя их невидимую жизнь. Он может говорить:

«Любовь страшна не смертью поцелуя»
. . . .
«Да, я поэт трагической забавы»
. . . .
«Я не люблю зарю. Предпочитаю свист и бурю»...

И это не звучит цыганским романсом, потому что, если мы снимем корку этих слов, то увидим ту божественную игру, которая первый орден поэта, каменщика слов. <...>

24 сентября 1922 г.

А. П[ИОТРОВСКИЙ].

Абраксас. Сборник 1-й. Петербург, 1922 год — Жизнь искусства. 1922. 28 ноября. № 47.

В центре сборника — стихи Кузмина, Радловой, Вагинова и рассказ Юркуна. Группа эта объединена не случайно, хотя и выступает вместе, как кажется, впервые. Не принимая общего названия, художники эти образуют течение, любопытное и по существу своему и формально. Сосредоточенное внимание к участи души человеческой, своеобразный гнос-

1 «Что есть сердце стиха? Сердце стиха есть радость или печаль, в оное вложенные. Что есть кровь стиха? Ритм его, от начала печали или радости бегущий. Что есть дыхание стиха? Рифмы, на концах растворенные» (Вагинов К. Монастырь Господа нашего Аполлона). — *Примеч. сост.*

тицизм роднит их. Александрийская гностическая мудрость Кузмина, более элементарная, более национальная окраска ее у Радловой, немножко от Достоевского идущий полипсихизм у Юркуна, у Вагинова, совсем еще молодого, страшная взволнованность лирической души.

<...> Стихи Вагинова, с несомненностью отмеченные талантом и своеобразием, неприятно трогают каким-то безволием и дряблостью. В особенности это относится к помещенной рядом прозе его же, нетерпимо манерной и темной.

<...> В целом сборник, явившийся органом группы сплоченной и ценной <цельной?>, значителен и любопытен. Неприятно все же название его, придающее изданию экзотический камерный характер.

НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ.
Письмо из Петербурга. Петербургские поэты — Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. Ноябрь. № 1. С. 31.

<...> Наиболее даровитый из них Константин Вагинов. Это подлинный сын Петербурга, классического Петербурга и умирающего. Как колонны Александровского ампира, хочет прямиться стих его... Но гнилая трясина колышется под Петровым городом и она же поит и питает стих Вагинова. Его бог — Аполлон, но не тот лучезарный, осенивший античность, его Аполлон гнилой, с узкой грудью, сухой и жестокий, и все же бог, и под развинченностью движений, под дряблой кожей вдруг иногда просквозит извечная прелесть, и задыхающийся стих выпрямляется и звучит ясно и торжественно. <...>

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ.
Русская поэзия — Жизнь искусства. 1923. 16 янв. №2. С. 4.

Поэтическая Россия разделяется на Москву и Петербург. Петербургская поэзия, как всем известно, суше и строже. Московская — шумливей и разухабистей.

Ни там, ни здесь поэзия не играет никакой роли в общественной жизни. <...> В наши дни Маяковский, человек даровитый, есть недосягаемый и непревзойденный образец того, чем НЕ должен быть поэт и как НЕ должны его любить.

В Петербурге есть три общепризнанных поэта: Сологуб, Ахматова и Кузмин. <...>

Минует «младших богов» нашего Парнаса. От них в общем мало радости. Есть три поэта, обративших на себя внимание лишь в последний год: Полонская, Тихонов и Вагинов.

О Н.Тихонове пока много говорить нечего. Его большая даровитость несомненна, но едва ли он поэт, во всяком случае не лирический. В его стихах много беллетристики. Строчки его вспоминаются только как находчивое по смыслу сочетание слов. Он наверное будет популярен, т. к. в нем есть врожденная бодрость и тот душевный оптимизм, который теперь в спросе.

К.Вагинов — полная противоположность ему. В старину про него сказали бы — «Божьей милостью». Он весь пронизан музыкой. Если Вагинов глубже и шире вздохнет, если он будет больше думать и настойчивей хотеть, если он перестанет кокетничать своей неврастенией, — он будет поэтом. Ему надо долго учиться. Но в руках его не труба и не барабан, а настоящая скрипка. <...>

ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ.

Русская поэзия в 1918-1923 гг. (К эволюции поэтических школ) — Книга и революция. 1923. № 3 (27). С. 37-38.

<...> Очень сложно и очень выдержанно пишет Конст. Вагинов. В нем словно воскресает символизм, но как-то совсем по-новому, проведенный через XVIII век и богато отягощенный им.

АВГ. РАШКОВСКАЯ.

Поэзия «Молодых» — Жизнь искусства. 1923. 10 июля. № 27. С. 15.

<...> У Конст. Вагинова в стихах — раздумчивая созерцательность восточного характера; его мысли смутны и неотчетливы, но он умеет завораживать тяжелым течением словесной массы. <...>

Мне кажется, он не владеет еще словами, он сам во власти их, его, вероятно, много и долго будут упрекать (и не без справедливости) в «непонятности».

Стихи Конст. Вагинова — остры и пряны, но пряности хороши для сытого <...>

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Петербургская школа молодой русской поэзии (Доклад, прочитанный в Пушкинском Доме при Российской Академии наук 17 сент. 1923) — Записки передвижного театра П.П.Гайдебурова и Н.Ф.Скарской. 1923. 7 окт. № 62.

<...> Петербург! (Не «Петроград» — слово чуждое культуре, безродное, сочиненное, а именно Петербург!) — <...>

<...> «Петербургская школа» — название книги, которая должна быть, наконец, написана. <...>

На пепле Революции поднимается свежая поросль. <...> ...история отошла от него <Петербурга> к кипящему сердцу страны и унесла с собой время, оставив на невских берегах вечность. «Петербург» — я пользуюсь образом одного из стихотворений М.Лозинского — это корабль, отошедший в неведомое плавание. Он уже вне времени. В нем теперь, как в Риме и Париже, скрещиваются пути всех времен и всех культур. Но ближе всего ему, кажется, дорический портик и тяжелый меч римского Сената.

Вот почему сочетание античности и Революции — тема чисто петербургская, определившая многое в поэзии О.Мандельштама, Анны Радловой и К.Вагинова, тема, ставшая одной из незыблемых традиций.

Второе, более значительное, что внесла Революция в сознание петербургских поэтов — это прекрасное, ни с чем не сравнимое чувство полной свободы от времени и пространства. <...>

<...> конечно, это настоящая «поэзия Революции» в отличие от стихов только с революционным словарем. <...>

Константин Вагинов — совсем молодое имя, вынесенное на берег невской бурей последних лет. Ничего нет в нем от «стройного Петербурга». Это — ночной голос, тревожный и горький. Первая книга — «Путешествие в хаос», еще младенчески беспомощная, лишенная композиционных заданий, построенная исключительно на звуковом ощущении отдельных слов, но уже исполненная пророчественного бреда; вторая, еще не изданная — «Петербургские ночи», дань глубокой волнующей любви к родному городу, ставшему городом вечности. Его Петербург в динамике, в неведомом плаваньи. Сквозь Вагинова протекает ритмическое ощущение давних и близких культур, но не в остром сознании их творческой воплощенности, а совершенно так же, как в зрачках слепого отражается мудрый узор созвездий. Вагинов слеп. Ему дано только слышать, порою слабо, порою очень неуверенно, но все-таки слышать. Я думаю, что он ничему не сможет научить, да у него и не надо учиться. Душа его давно переросла тело и мешает ему ходить по земле. Вот почему эти юношеские стихи волнуют такой ветровой шириной и неуютом. <...>

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ.
Поэты в Петербурге — Звено. 1923. № 32. С. 2.

<...> Вагинов <...> в периоде глубокого брожения. Он ничего не умеет и думает, что поэту ничего и не нужно уметь. Едва ли он в состоянии определить хотя бы количество стоп

в строке или место цезуры. Ему все это кажется пустым и ничтожным. Это хороший признак, — если, конечно, человеку не более двадцати лет.

Стихи Вагинова есть одно из самых странных явлений, которые мне известны в искусстве. Единственное, на что они похожи, — это живопись Чурляниса.

Вагинов весь погружен в музыку и остро-враждебен беллетристике. Последовательность слов и образов в его стихах едва ли может быть мотивирована чем-либо, кроме звукового сцепления. Но это не игра звуками, как у символистов или у Хлебникова, а логически-стройные периоды в причудливейших между собой сочетаниях.

В России нашлись догадливые люди, решившие, что в стихах Вагинова скрыта новая поэтика. Это наивная мысль. С точки зрения метода и формы в Вагинове нет ничего, — бред и тупик.

Но нельзя не чувствовать его неподдельной, глубокой взволнованности, естественно сказывающейся в ритме, его подлинно-поэтического восприятия жизни и мира. И после всех споров о значении формы и содержания, о мастерстве и «нутре», нельзя все-таки равнодушно встретить человека, который может стать поэтом.

Я подчеркиваю: может стать. Вагинову не надо, конечно, учиться в какой-нибудь студии. Технику он поймет и научится ценить ее. Но ему надо много и долго думать и не бояться быть менее своеобразным. Это главное. Если у него хватит силы и решимости, — это будет лишним подтверждением того, что он поэт. <...>

Л.БОРИСОВ.

(Из кн.:) Родители, наставники, поэты... Книга в моей жизни — М., 1967. С. 87-89.

Я подружился с Константином Вагиновым — поэтом породистым, по выражению Кузмина; его стихи напоминали, по своим ассоциациям, что-то полусонное, что-то где-то слышанное, милое, невнятное, — может быть, немного Мандельштама, чуть-чуть Вертинского (те его песенки, которые сочинял он сам, хотя таких и немного) и очень много своего, вагиновского. <...>

Собирал книги Вагинов по какому-то своему принципу: не те, что были редкими, — на это у него не было средств, и не те, которые ему могли нравиться, — такие он получал в подарок от любящих его; он приобретал, к примеру сказать, разрозненный томик на французском или немецком. Какого автора? Только и именно того, о ком он и сам впервые узнал, взяв в руки книжку.

— Надо же посмотреть, в чем тут дело. Да и год издания, смотри? — тысяча восемьсот тринадцатый...

Он знал латынь, греческий, на его полках стояли редкие издания и на этих языках в переплетах из свиной кожи, с застежками, напечатанные лет двести, двести пятьдесят назад...

Летом двадцать третьего года он пригласил меня на вербный базар на площади у Исаакиевского собора:

— Покажу диковинку, Леня, пойдем!

Диковинка заключалась в том, что книги на этом базаре продавались на вес. На килограммы. Он двугривенного до рубля килограмм.

<...> Здесь мы познакомились с хозяином развала старой книги — <...> Александром Яковлевичем Герцем: много позже он возглавлял торговлю старой книгой на Литейном и Большом.

Вагинов рылся в книжной груде, откладывая в сторону какую-нибудь чепушинку, диковинку. <...> Я <...> обнаружил В.Розанова с дарственной надписью А.С.Суворину. Вагинов <...> нашел Юрия Беляева с дарственным автографом артистке Грановской.

В Собрании стихотворений Вагинова (Мюнхен, 1982) на с. 89 приводится трехстишие, оставленное Вагиновым в альбоме Л.Борисова:

Не лунному, но звонкому поэту Любителю смарагда и панели
И солнцем окропленных пустырей. (*Примеч. сост.*)

Из письма И.Наппельбаум к Н.Берберовой в Париж (1926 г.) — В кн.: Берберова Н. Из петербургских воспоминаний. «Опыты», 1953, 1. С. 116.

«Костя Вагинов много пишет, много работает, много учится и читает, главным образом, старую французскую литературу. Книжка его вызвала много толков, она взбудоражила всю литературную публику. Только теперь они заметили, что это «крупное явление» в русской литературной жизни и заговорили о том, что надо что-то делать, чтобы его выделить, чтобы побольше внимания вообще оказать вагиновскому творчеству. Чтобы издать эту книжку, материально сложились почти все литераторы Ленинграда и теперь гордятся ею. В Союзе Писателей был устроен вечер с приветственными речами, с докладом и т. п. И в частном доме читался тоже доклад о книжке».

В Собрании стихотворений на сс. 222-223 приводятся устные воспоминания М.М.Бахтина: «...вечер открылся вступительным словом Бенедикта Лившица, сравнившего Вагинова с Анахарсисом, а с основным докладом выступил Л.В.Пумпянский. Основной тон выступлений был положитель-

ный, но были и нападки со стороны крестьянского поэта Ивана Приблудного». Далее Л.Чертков пишет: «Можно предположить, что Вагинов был не очень доволен докладом, результатом чего оказался последующий конфликт с Пумпянским, <...> Пумпянский же текст доклада уничтожил. А известный нам уцелевший фрагмент его не дает материала для суждений, кроме разве того, что доклад был выдержан в социологическом ключе, что и могло вызвать раздражение поэта».

Ниже публикуется, возможно, этот самый фрагмент (в оригинале — два больших рукописных листа), фотокопия которого была любезно подарена нам А.Б.Устиновым. (*Сост.*)

Л.В.ПУМПЯНСКИЙ.
О стихах К.Вагинова [начало доклада].

Современная поэзия — реалистична и повествовательна. Группа конструктивистов в Москве даже выдвинула тезис — каждое стихотворение должно иметь заглавие. Перебрав отдельные элементы стиха (образ, ритм, звук), поэты открыли новую область — композицию. В большинстве современных стихов запоминается логическое содержание. Роль слова затушевывается. Оно превращается в служебный строительный материал. Утрачивается внимание к отдельному образу, к эпитету, к строчке.

Стихи К.Вагинова резко отличаются от характера поэзии наших дней. Вагинов не реалист и на рассказчик. Ни одну его вещь не передашь своими словами, не определишь заглавием. Ритмическое течение его образов не регулировано фабулой и не опирается на рифму и строфику. Читая его стихи, словно воспринимаешь образы сновидений. В такой беспричинной, немотивированной внешне связи, развивает он свои сопоставления. Недаром, столько раз ссылается он на сон, как на условие развития темы (Я воплотил унывный голос ночи всех сновидений юности моей; Как странно мне, что сам себя я встретил, что сам с собой о сне заговорил; И снится им обоим, что приплыли ...в спокойный дом на берегах Невы; Полудремотное существованье — вот что осталось от меня и т. д.).

Композиция его причудлива и неожиданна. «Осколки, камешки, сучки» — вот странная коллекция, собранная автором «среди ночных блистательных блужданий. И, однако, не только каждое стихотворение, но и вся книга представляет из себя живой и целостный организм.

Дело в том, что Вагинов ни одного предмета не принимает «на веру». Каждый кусок природы, каждое душевное состояние он пересматривает заново. Вся его поэзия напряженное выискивание своих слов. Отдельный эпитет может быть неудачным, но не пустым. И это свое зрение, «своя рука» во всем делает стихи Вагинова однородными и крепкими, как обломки одной горной породы.

Стихия поэта — фантастика. В его пейзаже сплавлены «финский берег» и «Великой Греции роскошные утра». Его герой скользит «плоской тенью под лихолетьем одичалым, среди проулков городских». Он не удивится, если встретит сам себя, или даже увидит, как

«его же голос, сидя в пышном доме Кивал ему и пел, и рвался сквозь окно»

И, однако, его анахронизмы — только маски современности. Его фантазия не беспочвенна. Она впитала в себя атмосферу того периода, когда «вымирали» проспекты в «пространном, мертвом граде» и вдали означалось «вступление зари в еще живые ночи». Недаром рубеж книги, последнее стихотворение рассказывает нам, как

— Из домов трудолюбивый шум Рассеивает сумрак и тревогу И новый быт слагается.

В наше время при оценке поэта встает вопрос об его общественной значимости. Легко упрекать поэзию в оторванности от жизни, если она в своих темах не разрешает актуальных вопросов современности. Но нельзя забывать, что любая текущая тема может быть гораздо более живо и понятно разработана в газетной статье, чем в условной ритмической речи поэта. Выращивать же язык, обогащать его повороты, (на этом фрагмент обрывается. — *Сост.*)

О.К. [ИНН. ОКСЕНОВ].
[Рец. на книгу:] Константин Вагинов. [Стихотворения]. Ленинград, 1926 — Красная газета, 21 ноября. № 276 (1280). 1926. С. 3.

Вагинов хорошо известен постоянным посетителям собраний ленинградского союза поэтов. Широкому читателю это имя, вероятно, ничего не говорит, так как печатался Вагинов сравнительно мало. Есть, впрочем, и другие причины, по которым интерес к творчеству этого своеобразного поэта не выходит за пределы сравнительно узкого круга: Вагинов, пока что, поэт для поэтов и критиков, и его стихи с трагической тематикой, живущие деформированным классическим каноном, еще не могут найти дороги к широкому читателю.

Да, я поэт трагической забавы, А все же жизнь смертельно хороша, Как будто женщина с линейными руками, А не тлетворный куб из меди и стекла.

При всей культурности и высоком мастерстве Вагинова, творчество его не живет до сих пор настоящей жизнью. Никто не требует от поэта откликов на «злобы дня», гораздо ценнее глубокое, интимное соответствие, со-звучание той жизни, участниками и строителями которой мы все являемся. Этого у Вагинова нет (будем думать, что еще нет) — как поэт, он живет пока что в замкнутом круге. До тех пор, пока мир будет представляться поэту «тлетворным кубом», его творчество будет бесплодным «обогащением пустоты» и до современного читателя не дойдет. Но есть надежда на большой, значительный поворот Вагинова, — быть может, не только к новым темам, но и к новому мироощущению:

Нет, я другой. Живое начертанье Во мне растет, как зарево.

Если это осуществится, Вагинов из «пережившего становленье символиста» превратится в живого, волнующего поэта. Будем ждать «оживления статуи».

Б.Я.БУХШТАБ. Вагинов[1].

Высокое косноязычье Тебе даруется, поэт.
Гумилев

Константин Вагинов. Ленинград. 1926. Стр. 58. Тираж 500.

Тираж 500. Я жалею будущего историка литературы. В замкнутом кругу поэтов и близких к жизни литературы критиков этот сборник был принят, как одно из наиболее заметных появлений 26-го года. А для читателя, приходящего к литературе не из ее собственных недр, эта книга мертва — и до того непонятна, что ни один из критиков, представляющих массового читателя, не отозвался на нее даже обычным: «автора надо засадить в сумасшедший дом»; — сборник встречен гробовым молчанием. Будущий историк легко упустит его из виду, а если не упустит, — ему трудно будет представить эту книгу живой, почувствовать бывший в ней некогда смысл. Из сочувствия к будущему исследователю я и написал эту заметку.

1 Подобно шлимановской Трое, эта статья была обнаружена вдовой Б.Я.Бухштаба Г.Г.Шаповаловой в домашнем архиве по моей просьбе, так как некая статья Бухштаба о Вагинове фигурирует в списке материалов для несостоявшегося совместного сборника обэриутов и формалистов. Впервые опубликована: Тыняновский сборник. Четвертые тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 271-277. (Сост.)

Вагинов — акмеист; лучше сказать, его путь идет от места гибели акмеизма. Несмотря на это, он интересен. Я говорю «несмотря»: футуризма тоже давно нет, но сейчас поэзия живет под руками тех, кто впитал в себя культуру футуристов или же принял ее, выросши из акмеизма (после разложения школ такой синтез оказался возможным: Тихонов, Антокольский). А в Вагинове нет футуризма.

И сейчас постоянно появляются — чаще в Баку, а нередко и в Ленинграде — стихи о вещах, городах, диковинных ощущениях или исторических людях, — с ясной конструкцией, с неожиданными пиррихиями, с экзотическими именами в точных и небывалых рифмах. Но такие стихи читаешь — и улыбаешься «живому прошлому». Если их не много, они милы «как Богдановича стихи» Пушкину. Так отошел акмеизм за несколько лет.

Вагинов не из напоминателей. У него есть путь. Его поэзия связана с последним и высшим достижением акмеизма — с поэзией Мандельштама. Принадлежность писателя к поэтической школе, в которой развилось и выросло его творчество, мы чувствуем и тогда, когда раскрывшийся перед ним путь увлек его далеко за пределы ее рухнувших стен. Вот почему я говорю о Мандельштаме, как об акмеисте.

Еще до «Tristia» акмеистическая система в стихах Мандельштама распадалась. Внедрение в стих доминирующих над темой ассоциаций уничтожило тему и разложило стих на двустрочия, самостоятельностью которых печатно возмущались в свое время С.Бобров и другие.

В Вагинове разложение акмеистической системы достигло предела. Не строфы, не двустрочия, но каждое слово отталкивается здесь от соседнего; отсюда несочетаемый, нереализуемый Вагиновский эпитет: «голос лысый», «Берлин двухбортный», «женщина с линейными руками», «морей небесных пламень». Стих Вагинова рассчитан на вызываемые ассоциации, — но не идет по ним, как шел у Мандельштама:

> Не три свечи горели, а три встречи. Одну из них сам Бог благословил, Четвертой не бывать. ***(Три Рима, а четвертому не бывать)*** А Рим далече И никогда он Рима не любил.

Не так у Вагинова:

> Обыкновенный час дарован человеку. Так отрекаемся, едва пропел петух ***(евангельская ассоциация, нарушаемая дальнейшим ходом:)*** От мрамора, от золота, от хвои И входим в жизнь, откуда выход — смерть.

В поэтическом языке есть — непонятное для практической речи — право собственности на слова, даже на союзы и предлоги. У Мандельштама большое поле возделанных им и закрепленных за ним слов. Попробуйте в наше время произнести в стихе слова: стигийский, летейский, эолийский, Лигейя, медуница, асфодели, простоволосая, кипарисный — и не попасть в плен к Мандельштаму. Нужно быть очень осторожным, ставя слова: легкий, косматый, прозрачный, пчелы, воск, шелк, ласточка — потому что у этих слов в поэзии нашего часа сильное стремление повернуться той же мандельштамовской стороной. Так попал в безвыходный плен к Мандельштаму Бенедикт Лившиц.

У Вагинова нет своих слов. Все его слова вторичны. Он берет чужие отработанные слова, слагающиеся в чужие образы. Иногда Вагинов прямо говорит голосом Мандельштама:

> Я полюбил широкие каменья, Тревогу трав на пастбищах крутых.

Бедность Вагинова нарочита. Его слепые слова с перебитым «прямым смыслом» выветрены литературой, но в ней же крепко обросли «вторичными признаками значения» (термин Ю.Тынянова). Его слова не бесцветны, и, выстроенные рядом, — безголосые — они с тем большей ясностью доводят до сознания ту общую окраску, по которой подобраны.

> Струна гудит, и дышат лавр и мята Костями эллинов на ветряной земле.

Обратите внимание на составные слова у Вагинова. Иногда в них так же несоединимы части, как несоединимы у Вагинова соседние слова. Это слова с нереализуемым смыслом, — но читая стих, вы даже не заметите, что это «неологизмы»; до того в них важна только окраска, и до того эта окраска знакома:

> Как сановитый ход коня Как смугломраморные лавры. . . . . И ложным покажется ухо, И скипетроносный прибой, И золото черного шелка Лохмотий его городов.

Хоровод непонятных знакомцев — слов — постоянная тема Вагинова.

> Прозрачен для меня словесный хоровод. Я слово выпущу, другое кину выше, Но, все равно, они вернутся в круг. И я вошел в слова, и вот кружусь я с ними, Танцую в такт над дикой крутизной.

«Классичность» стихам Вагинова придает их безрифменность. Сперва она воспринимается только как подчеркиванье стиховой бедности, но потом начинаешь на некоторое время понимать древних, презиравших грубость этого варварского украшения. Беден размер — почти всегда ямб, в основе пятистопный, но принимающий в себя 4-х и 6-тистопные строки. Количество стоп увеличивается обычно в конце, откуда особое чувство замедленного к концу темпа.

Из хаоса образов появляются темы. Они неясны и в отдельном стихотворении неощутимы. Но образы идут из стиха в стих, набираются на общие стержни и так создают темы. Наиболее ясная — тема умирающей — а когда-то цветущей — Эллады, состарившихся, распадающихся богов.

> Спит брачный пир в просторном мертвом граде.

Это не Эллада Мандельштама. Тяга Мандельштама к Элладе — тяга к классическим словам, которые сами становятся в привычный круг. Эллада Мандельштама это почти та же Батюшковская Эллада,

> Где любуясь пляской граций, Нимф, сплетенных в хоровод, С Делией своей Гораций Гимны радости поет.

С 17-го века русская поэзия знала немало эллинских богов, но Вагиновский «проклятый бог сухой и злой Эллады» является в ней впервые.

> И бородой Эрот играет, Копытцами перебирает
> На барельефе у земли.

Копытчатый Эрот, безглазый Аполлон, Венера с седыми космами, нежданно нашедшая «остаток сына в прежнем зале»:

> Он красен был и молчалив, Когда его я поднимала, И ни кудрей, и ни чела, Но все же крылышки дрожали.

Интересна у Вагинова чистота интонационных схем. Это результат «пустой фразы». Вот почему Вагинову удается диалог. «Диалог сумасшедших» для непоэтического уха; диалог, держащийся не на произносимом, а на одной смене интонаций. Таков диалог между «человеком» и «хором» (стр. 15-17), где через невнятицу слов слышишь чередование одинокого вопля «человека» с торжественно-успокоительным тоном отвечающего хора.

Со штампованностью Вагиновского образа связана еще одна странная на первый взгляд особенность его творчества: использование банального.

> О жизни своей ненаглядной, О чудной подруге своей.

Шарманочные слова, — но сдвинутые: «Жизнь ненаглядная» — совсем не обычное сочетанье.

> Любовь страшна не смертью поцелуя.

Это прямо из вульгарного романса, но смотрите как переломлен смысл этой строки.

Чужие слова, чужие образы, чужие фразы, но все вразлом, но во всем мертвящая своим прикосновением жуткая в своем косноязычии ирония.

> Покойных дней прекрасная Селена, Предстану я потомкам соловьем, Слегка разложенным, слегка окаменелым, Полускульптурой дерева и сна.

(1926)

Л.ГИНЗБУРГ.
Из старых записей. 1920-1930-е годы — В кн.: Гинзбург Лидия. Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 152.

1925-1926 <...>

Недели две тому назад Борису Михайловичу <Эйхенбауму> в час ночи позвонил Мандельштам, с тем чтобы сообщить ему, что:

— Появился Поэт!

— ?

— Константин Вагинов!

Б.М. спросил робко: «Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?»

Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: «Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня!»

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ.
Литературные беседы — Звено. 1927. № 2. С. 72.

<о коллективном сборнике «Ларь»> <...> Резко своеобразен Вагинов, беспутный, бестолковый, сомнамбулический поэт, которому едва ли суждено оставить какой-либо след в

русском искусстве,— кроме бархатных, виолончельных звуков, кроме удивительной певучести, этого «дара неба» <...>

ИГОРЬ БАХТЕРЕВ.
Когда мы были молодыми (Невыдуманный рассказ). В кн.: Воспоминания о Н.Заболоцком. М., 1984. С. 76, 90-91, 98.

<...> Название «Левый фланг» ни у кого сомнений не вызывало. Участникам совещания было присвоено звание «организационной четверки» (и снова я один из четырех). Кто же, кроме нас, будет в содружестве? Кого мы сочтем достойным? <...>

Не уверенный в успехе, я все же предложил кандидатуру, которую сам считал бесспорной.

— Поэт Вагингейм, — назвал я.

Заболоцкий переспросил, не знал, что Вагинов — псевдоним.

— Лучшей кандидатуры и быть не может, — сказал он.

Я вызвался поехать и договориться с Константином Константиновичем, был убежден в успехе и не ошибся.

[На вечере «Три левых часа» 24 января 1928 г. в Доме печати] Вагинов заранее предупредил: принять участие в подготовке вечера не может, он-де занят писанием романа «Козлиная песнь» (добавим: его лучшей прозаической книги). Но все же выступил и был слегка наказан. Руководитель театрализации Боба [Б.М.Левин] предложил Константину Константиновичу читать как захочет, как всегда.

— Да, я поэт трагической забавы, — произносил Вагинов.

И тут в глубине сцены появилась Милица Попова. В пачках, на пуантах, она проделывала все, что и положено классической балерине. Вагинов продолжал читать как ни в чем не бывало. Возможно, в противовес остальным, в тот вечер его выступление пользовалось наибольшим успехом.

<...> Особенно успешно прошел вечер Заболоцкого. В рукописном объявлении было объявлено о совместном выступлении Николая Заболоцкого и Константина Вагинова. В последний день выяснилось — Вагинов заболел. Заболоцкий выступил один, его первый персональный вечер — ранней весной 28-го года. <...>

[Из т.н. «манифеста» ОБЭРИУ]. Афиши Дома печати. Л., 1928, № 2. // Заболоцкий Н. Собраний сочинений в трех т. Т.1. М., 1983. С. 523-524.

<...> К.Вагинов, чья фантасмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман и дрожание. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его

теплоту, вы чувствуете наплывание толп и качание деревьев, которые живут и дышат по-своему, по-вагиновски, ибо художник вылепил их своими руками и согрел их своим дыханием. <...>

Дневник П.Н.Лукницкого. // Лукницкая Вера. Из двух тысяч встреч: Рассказ о летописце — М., 1987. С. 55, 56.

[АА — Анна Ахматова; Мр. Дв. — Мраморный дворец]

20.03.1928.

Я спросил, читала ли она книжку Вагинова? Ответила, что не читала и спросила мое мнение о ней. Я сказал, что, по моему мнению, стихи несамостоятельны, есть чужие влияния — Мандельштама, В.Иванова, Ходасевича, — но культурны и мне нравятся. Сказала: «Теперь буду читать, когда Вы сказали».

23.03.1928.

Когда я пришел в Мр. Дв., Шилейко сказал мне: «Попадет Вам от АА за легкомысленное суждение о Вагинове?» Перед моим приходом в Мр. Дв., сегодня, АА читала книжку Вагинова вслух — Шилейко слушал и очень зло, в прах раскритиковал ее, и АА к его мнению вполне присоединилась, потому что он приводил справедливые и совершенно неоспоримые доводы...

АА рассказала мне, что говорила (вчера? сегодня утром?) с Мандельштамом по телефону, и между прочим о книжке Вагинова (спросила его мнения, потому что сама она еще не прочла книжку). «Оська задыхается!» Сравнил стихи Вагинова с итальянской оперой, назвал Вагинова гипнотизером. Восхищался безмерно. Заявил, что напишет статью о Вагинове, в которой будут фигурировать и гипнотические способности Вагинова, и итальянская опера, и еще тысяча других хороших вещей. АА объясняет мне, что Оська всегда очаровывался — когда-то он так же очаровывался Липскеровым <...> Тем более понятно восхищение Мандельштама, что Вагинов — его ученик.

А.МЕЙСЕЛЬМАН.
Литературный Ленинград. Ленинградский союз поэтов — Жизнь искусства, 1927. № 48 (29 ноября). С. 13.

[упоминаются Тихонов, Ричиотти, Лукницкий, Рождественский] <...> В союзе выросло оригинальное дарование К.Вагинова, у которого образы иронической архаики пропущены сквозь голос.

[далее Н.Браун, Инн.Оксенов, В.Эрлих]

ПРЕДИСЛОВИЕ // Вагинов Конст. Опыты соединения слов посредством ритма — Л. 1931. С. 5-9.

Когда Валерий Брюсов напечатал свое стихотворение, начинающееся словами:

Тень несозданных созданий Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний На эмалевой стене

— это вызвало смех и возмущение; все насквозь казалось абсурдным, особенно строки:

Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне...

На самом деле смысл этих образов был весьма простым: через окно комнаты, с погашенным светом, светит месяц, кидая тень от цветов на изразцовую печь и отражаясь на ней своим диском.

История русского стиха на всем протяжении своем от Ломоносова до, скажем, Сельвинского знает примеры гораздо более сложных «непонятностей», чем этот задорный, но элементарный эксперимент молодого Брюсова.

Против узости нашего взгляда на поэтическое слово, допускавшего для него только привычные, бытовые формы речи, возражал еще И.Анненский: «Слово — остается для нас явлением низшего порядка, которое живет исключительно отраженным светом: ему дозволяется, положим, побрякивать в стишках, но этим и должна исчерпываться его музыкальная потенция... И главное, при этом — ранжир и нивелировка. Для науки — все богатство, вся гибкость нашего духовного мира; здравый смысл может уверять, что земля неподвижна — наука ему не поверит; для слова же, т. е. поэзии, — за глаза довольно и здравого смысла — здесь он верховный судья, и решения его никакому обжалованию не подлежат. Поэтическое слово не смеет быть той капризной струей крови, которая греет и розовит мою руку: оно должно быть той рукавицей, которая напяливается на ручные кисти, не подходя ни к одной».

Для нашего времени такая полемика в значительной мере потеряла свою остроту. После работы над словом Хлебникова, Пастернака, Маяковского, Мандельштама, Тихонова, Сельвинского и других поэтов, расширявших и утверждавших новые возможности стиховой речи, вопрос о законности тех или иных отклонений от бытовых форм языка не возбуждает сомнений.

К.Вагинов в этом вопросе занимает одну из крайних позиций; временами он не так далек от хлебниковской позиции «самовитого» слова, что выражается у него и в темах:

В словохранилищах блуждаю я..

Лирика Вагинова бессюжетна. Она свободна от рифмы, от обязательной для футуризма гиперболы, от обязательной для акмеизма строфы. В ней трудно отметить все те элементы, которые мы находим у молодых поэтов сегодняшнего дня, тематика которых тесно сближена с событиями, имеющими твердые даты, композиция которых опрощена сюжетным развертыванием, пейзажным обрамлением и другими приемами прочно узаконенных форм. В стихах Вагинова смещение плоскостей пространства и времени кажется на первый взгляд неожиданным, фантастическим. На ведь сама эпоха диктует нам темы таких смещений <...>

А смещение во времени — порождение того же стиля, который сочетает в Ленинграде классическую архитектуру зданий Гваренги, Томона и Росси с подъемными кранами, эллингами и заводскими корпусами. Но только невнимательный читатель не увидит у Вагинова внутренней борьбы сталкивающихся элементов, борьбы эпох, тяжбы поэта с «проклятым богом сухой и злой Эллады»..

По особенностям голоса Вагинова, той медленности и торжественности, которые роднят его с акмеизмом —

> Мне вручены цветущий финский берег И римский воздух северной страны —

по эрудиции, по обилию литературных реминисценций, можно было бы причислить его к созерцательно-архаическим поэтам, — если бы не эта трагическая коллизия в сознании поэта, тесно связанная с его ощущением современности. В своей прозе он изобразил эту коллизию остро-сатирически, в лице Тептелкина и прочих персонажей, стремящихся пронести через революцию отжившие формы такой сладостной для них «культуры».

В поэзии у Вагинова эта тема борьбы двух эпох культуры — на границе сатиры и большой драматической лирики. В стихотворении «Отшельники, тристаны и поэты» тема крушения старой культуры выражена с наибольшей силой. <...> Богатые, тяжелые массивы старой культуры не давят сознания поэта, поэт слишком тесно и органически связан с нашей современностью, чтобы колебаться в выборе:

> Не променяю жизнь на мрамор и гранит, Пока в груди живое сердце дышит, Пока во мне живая кровь поет.

И отсюда — бесконечно сложный путь лирики, и путь поэта, каждого поэта нашей эпохи, который

> ...миру показать обязан Вступление зари в еще живые ночи.

[Рец. на:] Вагинов К. Опыты соединения слов посредством ритма. [Стихи] — Л.: Издательство писателей в Ленинграде. 1931. 74 стр. 1 р. 70 к., перепл. 25 к., 1200 экз. — Книга — строителям социализма: Бюллетень библиографического института. 1931. Июнь. № 16. С. 98-99.

Давая сборнику своих стихов такое ироническое и манерное наименование, автор вряд ли хотел этим сказать, что его стихи лишены содержания. В самом деле, если не настаивать на буквальном понимании названия, оно окажется почти точным. Книга Вагинова — образец высокого словесного мастерства и одновременно продукт социального распада, лирика, превращающаяся в механическую игрушку для впавшего в прострацию интеллигента.

Вагинов — поэт не начинающий, хотя и мало известный. В «Опытах» собраны стихи 1921-1928 гг., в значительной части печатавшиеся ранее в малотиражных сборниках, не нашедшие отклика в прессе. Это — наиболее последовательное поэтическое отражение сознания деклассированного социалистической революцией буржуазного интеллигента, человека мертвой книжной культуры, дошедшего до максимально возможного отрыва от среды, до исчерпывающего одиночества.

Действительность до конца деформирована в его творчестве. Лирические высказывания принимают видимость фантастических снов, обрывков каких-то созданных и забытых автором мифов. Внешний мир входит в мир творчества странными углами, быт показан — только как объект ужаса или насмешки. Пейзажи сознательно обесцвечены и спародированы. Чрезвычайно мрачна эмоциональная окраска сборника. Стихи холодны, проникнуты опустошающим сарказмом по отношению к самому автору, горечью, почти ненавистью, к творчеству. Но их художественная последовательность прямее и глубже: не рядясь в одежды «крестьянской» лирики, не заимствуя старых шаблонов поэзии городского мещанства, автор делает свою деклассированность и одиночество основным содержанием творчества.

Струя акмеистической торжественной описательности, лирика О.Мандельштама, отправляющаяся от античных образов и спокойных веских слов, находит у Вагинова свое завершение. Лишенные рифмы, величавые многостопные ямбы теряют свою устойчивость. Образ распадается, остаются отдельные словесные значки, намечающие контур, но неспособные показать плоть вещей и явлений. Изолированное слово эстетски фетишизируется, оказываясь объектом пустой словесной игры, обессмысливающей его.

В этом и коренится непонятность стихов Вагинова. Слово и стих перестают быть средствами общения людей между собой. Это монолог поэта, ни к кому не обращенный и

нередко почти беспредметный, это подлинная социальная деградация, материал для исследования социолога или литературоведа, но не более. Читателю неспециалисту делать с ним нечего.

Вагинов сам сознает свою выключенность из эпохи, но в характере книги это обстоятельство ничего изменить не может, и она остается сугубо реакционным произведением.

С.МАЛАХОВ.
Лирика как орудие классовой борьбы (о крайних флангах в непролетарской поэзии Ленинграда). Доклад, читанный в Ленинградском отделении ССП на дискуссии о творческом методе поэзии — Звезда. 1931. № 9. С. 161-166, 176.

<...>

Последние книги двух ленинградских поэтов, выпущенные Издательством писателей в Ленинграде в 1930 и 1931 г. («Особые приметы» Сергея Спасского и «Опыты соединения слов посредством ритма» К.Вагинова), впервые после аналогичных упражнений Заболоцкого в «Столбцах» заставляют вспомнить только что приведенные строки Б.Лившица.

> [Бежим, бежим! Уже не в первый раз Безглавая уводит нас победа Назад в самофракийский хризопраз Развоплотившегося бреда.]

Вагинов уже в своей прозе, достаточно анализированной марксистской критикой, чтобы надо было ее разбирать здесь, обнаружил тенденции реакционного осмысления советской действительности. Разбираемая книга стихов <...> еще более обнажает социальные корни и объективно реакционные функции его творчества.

Характерно уже то, что в 1931 году, в решающем году завершения фундамента социализма, Вагинов выпускает книгу стихов, в которой стихи, написанные в 1921 году, ничем решительно не отличаются по своим установкам от стихов, написанных в первый год пятилетки. Выпуск же подобной книги в 1931 году, да еще с предисловием, замазывающим объективную и классовую функцию этих стихов, прокламирующим их даже в качестве свидетельства идеологической близости Вагинова к революции, не может не заставить рассматривать эти стихи, ограниченные датой 1921-1928 гг., в качестве творческого документа сегодняшнего дня.

Уже само заглавие книги Вагинова свидетельствует, что он работает по творческим методам формальной школы. Практика этого метода в стихах Вагинова показывает лишний раз реакционную сущность и самого метода и руководя-

щейся им практики. <...> Теоретический вывод Тынянова о литературе, как системе формальных приемов, развивающихся имманентно по внутренним законам автоматизации одних приемов и самовозникновения полярно им противоположных <...> свидетельствует, что исследователь руководствуется идеалистическим принципом самодвижения сознания. <...>

Такой подход мы видим в лирике Пастернака, «Кротонском полдне» Б.Лившица и бредовых стихах Заболоцкого. То, что было относительно прогрессивным как протест против буржуазной эстетики в стихах дореволюционного Хлебникова, «эпатировавшего» вместе с другими футуристами вкусы предвоенного буржуа, повертывается своей реакционной стороной ухода от действительности и нарочитого ее искажения в стихах эпигонов и продолжателей Хлебникова, лишенных даже той мелкобуржуазной революционности, которая была у покойного поэта. <...>

К.Вагинов, как показывает заголовок книги и предупредительно-саморазоблачительное предисловие к ней, идет именно по хлебниковскому пути формалистского экспериментаторства в области «самовитого слова» и «в этом вопросе занимает одну из крайних позиций» (предисловие, стр. 6).

Автор предисловия исходит по существу из тех же идеалистических позиций, что и Ю.Тынянов. Для него поэзия — также лишь самодвижение сознания, находящее свое выражение в имманентном самодвижении формы. За эстетическими лозунгами и новой поэтикой он и не подумает искать классовой борьбы, классовой идеологии. <...>

Анонимный автор предисловия, как и подобает истому формалисту, свалил в одну кучу «прочно узаконенных форм» всех поэтов сегодняшнего дня, явным образом ставя на одну доску кулацких поэтов с колхозно-пролетарскими, пролетарских с «буржуазными» и т. д., видя в тесном сближении тематики с современностью лишь один из приемов все тех же прочно узаконенных форм.

Предисловие значительно облегчает, вопреки прямым намерениям его автора, разоблачение реакционных позиций Вагинова как поэта. Действительно, первым фактом, который приходится констатировать, пробегая «Опыты», является полнейший разрыв тематики с современностью.

Самодовлеющее описание процессов поэтического творчества, запутанное сочетание античных, архаических и прочих литературных реминисценций, отвлеченнейших рассуждений на ничтожнейшие темы — таков круг, из которого не выходит Вагинов, вопреки демагогическому заявлению автора предисловия, что «только невнимательный читатель не увидит у Вагинова внутренней борьбы сталкивающихся элементов, борьбы эпох, тяжбы поэта с проклятым богом слепой и злой Эллады».

Анонимный автор не понимает, что эта «борьба эпох» не больше, чем поэтическое выражение разорванности сознания самого поэта, его внутренних противоречий, не выходящих за круг неприятия реального мира пролетарской диктатуры. Такие редкие намеки на современность, как строки:

Я в толпе сермяжного войска. В Польшу налет
и перелет на Восток

и голые прокламации:

Не променяю жизнь на мрамор и гранит, Пока
в груди живое сердце дышит...

не могут ни в какой степени изменить сделанной выше оценки Вагинова. Н.Заболоцкий, написав даже о колхозе, ухитрился заметить лишь крестьянина, «объясняющего корове» систему сложных молотилок, и услышать, как «в хлеву свободу пел осел...». Для К.Вагинова как поэта характернее всего такая нарисованная им поза:

Поэт кричит, окаменев...

Действительно, несмотря на сложнейшие ассоциации и противоречия поэзии Вагинова, она неподвижна по своей сущности. Эта как бы каменная маска, снятая с искаженного судорогами предсмертных конвульсий лица. Маска, поражающая изломанностью, напряженностью и судорожностью линий, но все-таки маска. <...>

Ощущение творческого процесса как визионерства, заглядыванья в потусторонний мир «сгущающегося хаоса», кликушество, фиксация в материале слова неповторимых судорог мистического исступления — пронизывают многие стихи Вагинова.

Слово «запевает» у Вагинова нежданно, «как соловей», являясь позывным сигналом поэту, оставившему свой плотский образ, «спящий на земле», для путешествия в призрачный мистический мир неверных, колеблющихся образов, смещенных и смещающих реальную действительность как раз настолько, чтобы создать впечатление ее ирреальности. Каждая страница, открытая наугад, обнажает это идеалистическое «остранение» реального мира поэтом, противопоставление ему в качестве единственной реальности фантасмагорий собственного воображения. <...>

<...> Вообще с точки зрения здравого смысла вызывает возражения почти каждая строка Вагинова <...>

Если живые люди превращаются у Вагинова в кошмарных идолов и «безжизненных калек» и сама реальная действительность предстает как окаменевший слепок с ее искаженного

отражения в кривом зеркале, то искусство, поэзия, мир, созданный воображением поэта, наделяется им — тогда, когда он не юродствует и здесь, — почти телесной реальностью и одухотворенностью. Искусство и действительность вообще метафизически разрываются и противопоставляются друг другу поэтом. Первое он боготворит, вторую ненавидит и отвергает. <...>

Трудно дать более сжато и более верно характеристику, чем та, которую дал своему творчеству сам поэт <«...Полускульптурой дерева и сна...»>. Именно сочетание бреда, разложения и стилизации окаменевшей культуры доживающих эксплуататорских классов прошлого является поэзия К.Вагинова. Если она даже и не представляет законченной буржуазной идеологии, то несет на себе несомненный тягостный ее груз, представляя идеологию тех слоев буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции, сознание которых, отравленное тлетворным дыханием культуры эксплуататорской, не может принять действительности побеждающего социализма, пытается найти спасенье в созданном ими идеалистическом мире бредового искусства.

<...> Автор предисловия к книге Вагинова явно становится на позиции буржуазной критики, когда пытается замазать отчетливо выраженный реакционный классовый характер творчества Вагинова рассуждениями о «правах поэта» на языковое экспериментаторство. <...>

Утверждение предисловия, что «богатые тяжелые массивы старой культуры не давят сознания поэта, ибо поэт слишком тесно и органически связан с нашей современностью, чтобы колебаться в выборе», основано на декларативном, чрезвычайно туманном высказываньи Вагинова в следующем трехстишии:

Не променяю жизнь на мрамор и гранит <...>

У Вагинова, как мы видели выше, гораздо больше высказываний прямо противоположного характера. Да дело и не прямых высказываниях. Мы видели на анализе поэзии Вагинова, что сам творческий метод поэта толкает его в сторону от социалистической современности, как бы ни уверял нас в связи его с нею услужливый автор предисловия.

<...> на примере творчества Вагинова мы видели кристаллизацию к началу реконструктивного периода идеологии объективно буржуазной, обнажающей формирование враждебной пролетариату идеологии под видом ухода в область «чистого» искусства и отказа от политических идей вообще. <...>

[Ответное слово Вагинова С.Малахову] — Литературная газета. 1931. 5 сент. № 48 (147). [Ленингр. корр.] Б.Рест.

<...> Интересным моментом прений можно считать выступление К.Вагинова.

— С.Малахов резко поставил вопрос о моей[1] книге, — сказал К.Вагинов, — и, по существу, С.Малахов прав. Никакая культура не может возникнуть без дискредитации старой культуры и каждый поэтический образ является выражением определенной[2] идеологии. В эпоху величайших сдвигов, в эпоху, являющуюся гранью между двумя культурами — умирающей и нарождающейся, — появляются люди, стоящие как бы на распутье, очарованные зрелищем гибели. Я воспевал не старый мир, а зрелище его гибели, всецело захваченный этим зрелищем.

— Малахов, — заканчивает свое декларативное выступление К.Вагинов, — мне кажется, совершил ошибку, рассматривая прошлое, как настоящее, относя к настоящему времени стихи, не имеющие к переживаемому нами моменту прямого отношения.

Выступление Вагинова, очевидно, послужило поводом следующему оратору З.Штейнману для ошибочного заявления о том, что поэтическая дискуссия... не нужна.

— Поэты сами зачеркивают свое прошлое, не защищаются, не спорят. Спорить не о чем. Дискуссии не получается...

Демобилизационные высказывания Штейнмана осуждены всеми участниками прений.

А.Г.ОСТРОВСКИЙ.
[Из писем к составителю]

20.12.88

В те поры (конец 20 — начало 30 годов) мы довольно часто (но мимолетно) общались с ним, главным образом встречаясь в букинистических книжных магазинах (или около них). Часто Вагинов держал в руках уже приобретенное сокровище — это был том на латинском или греческом языках, который был нужен Вагинову не только как источник знаний, но и для работы: кладезь мудрости и вдохновений.

Вагинов, как всегда, был с тростью, расширяющейся кверху, он, казалось, не расстается с ней даже в квартире, часто поднося ее под подбородок. Разговоры шли главным

1 В газете опечатка: «своей».
2 В газете: «определений».

образом библиографические — он был выдающимся знатоком старой, главным образом античной книги на латинском же языке. Несмотря на относительно небольшие годы (около 30-ти), он был бесспорный знаток книги.

Он тяготел к Институту истории искусств и мы иногда встречались у одного из тесной компании слушателей. Помню один разговор, который затеял он — о том, что внутри каждого человека есть как бы второй, или, вернее, второе темное начало или существо: носитель тайных, черных, но могучих сил. Он спросил меня: «А Вам не случалось обращаться или связываться с этим существом?» На мой отрицательный ответ он сказал: «Это трудно представить, но может быть, Вам приходилось в трудных случаях как бы прибегать к нему?» Это было сказано почти тоном просьбы и не оставляло сомнений то, что он сам неоднократно имел дело с тем, кого Бодлер в свое время назвал «Демоном извращенности». Впрочем, не исключено, что это был чисто литературный экскурс. [пояснение из письма от 4.01.89: «Он задавал свой вопрос с некой лукавой улыбкой, явно провокационной»].

Вообще говоря, несмотря на некоторый «дендизм» (внешний), он по существу был очень добрый и отзывчивый человек, бесспорно большой культуры.

Отношение к нему со стороны так называемых «попутчиков» было, несмотря на молодость, бесспорно серьезным. Я помню, как без особого труда и канители проходили его книги в «Издательстве писателей в Ленинграде», где печатались Федин, А.Толстой, Слонимский. Хотя по содержанию они были резко сатирического плана (что совсем тогда не поощрялось). Умер он неожиданно и очень быстро — от чахотки.

<...> Я кончил Курсы при ГИИИ. Вагинов не был их слушателем, вероятно, его можно было видеть среди слушателей в стенах института, хотя мне его видеть там не приходилось.

4.01.89

Вагинов был человеком с резко выраженными литературными вкусами, его мало интересовали современные книги и литература. Я хочу сказать, что он был котом, который ходил сам по себе, не пропуская посторонних в свой внутренний мир. А потому и в разговорах больше спрашивал, чем говорил сам. Но чувствовалось, что он из тех, о которых можно сказать — «в тихом омуте черти водятся». Потому что он и в самом деле внешне был очень «тих». Тот небольшой круг, с которым он общался, относился к нему с уважением.

20.01.89

О докладе С.Малахова в 1931 году я ничего не знал — эти годы у меня были годами большой нагрузки <...> С С.Малаховым я познакомился через добрых 15 лет — по его

возвращении из ссылки, и даже вместе с ним жил летом в Комарово. Но он уже ничего не помнил... кроме массы стихов, которые сохранила его память.

О «Козлиной песне» я помню лишь то, что одно из главных действующих лиц — Павел Николаевич Лукницкий — в молодости собиравший неизданного Гумилева и вообще личность довольно любопытная, но почему-то овеянная разными легендами. Собирался (в свое время) узнать у Вагинова, где — кто, но так и не собрался.

Н.ОРУЖЕЙНИКОВ.

На полях журналов — Литературная газета. 1933. 17 июня. № 28 (256). С. 2.

<...> Какой густой туман литературщины застилает многие страницы этого журнала! [«Звезда»]. Вот в первом номере три стихотворения К.Вагинова. <...> Эта страница из лирического дневника явно рассчитана на рафинированное восприятие читателя, погруженного в смакование каждого отдельного образа, но равнодушного к общему смыслу, равнодушного к идее. Поэт обращается к кружку, к свите почитателей, к соратникам по литературной школе, но поворачивается спиной к действительности, развивающейся за стенами его кельи. <...>

ИНН.ОКСЕНОВ.

Борьба за лирику — Новый мир. 1933. Книга седьмая — восьмая. С. 401-402.

<...> Творчество Вагинова интересно тем, что поэт, внешне формально стремящийся к разрушению, смещению, даже пародированию старой поэтической культуры, на деле оказывается в прочном плену всех индивидуалистических понятий и представлений. «Переработка» классического наследства, которую пытается дать Вагинов, оказывается иллюзорной потому, что творческие позиции поэта внутренне порочны, они еще не выходят за пределы того круга, который поэт стремится разорвать. Оттого-то творчество Вагинова производит странное впечатление разъятого на части мира, мира обломков классики, расставленных, правда, в своеобразных сочетаниях и поворотах, но при этом торчащих и выпирающих своими острыми углами.

Новые стихи Вагинова не изменяют этого впечатления. <...>

«Звукоподобие», т. е. созданное поэтом произведение, живет таинственной жизнью автомата, оживленного изваяния, переходящего «в разряд людей». <...>

В этом сомнамбулическом стихотворении, в основу которого поставлен чисто гофмановский образ оживающего автомата, нетрудно вскрыть руководящую идею. Создание искусства живет своей самостоятельной жизнью, не зависящей от воли его автора, и выполняет свое назначение порою вопреки этой воле. С этой мыслью стихотворения можно было бы согласиться. Ведь в самом деле мы знаем исторические примеры подобной «независимости» литературных произведений от намерений и замыслов их авторов, — достаточно назвать хотя бы Гоголя или Бальзака, произведения которых по своей идейно-общественной ценности ВЫШЕ классового мировоззрения этих писателей. Все это так. Но, «когда два человека говорят одно и то же, это не одно и то же». В стихотворении Вагинова раскрытая нами мысль имеет иной оттенок, — она стремится к утверждению интуитивного характера искусства в старом, почти мистическом духе этих представлений. Отсюда неизбежно вытекающий вывод о *безответственности поэта*, не властного остановить или направить на другие пути развитие своих созданий. <...> Тем самым зачеркивается роль сознательного контролирующего начала в работе поэта. Стоит ли говорить, насколько чужда и враждебна нам постановка этого вопроса.

Вагинов — талантливый поэт, однако носящий в себе те «трагические» или псевдотрагические «изломы», которые когда-то (уже очень давно) считались необходимым признаком одаренного поэта. Он до сих пор бродит в мире призраков и теней — старинных поэтических и ложнопоэтических «истин» и догматов. Надо как-то ему помочь найти выход из этого душного лабиринта, иначе все его — несомненно искренние — декларации о «перестройке» останутся одним только благим намерением. <...>

С. РУДАКОВ.
Из писем и дневников. // Эмма Герштейн. Мандельштам в Воронеже — Подъем. 1988. № 8-10.

[Рудаков — Мандельштаму о «Разговоре о Данте»] Вам нужна была структурность. Подошли бы и естествознание, и математика, и культура. Вы доказывали так: музыка структурна (оркестр, etc.), и она музыка! а Дант ей подобен, как он хорош! А получается совпаденье тех формул поэзии, которые мы выверяли с вашей практикой, с практикой Вагинова, моей и еще очень немногих. В чем же суть дела? В том, что поэзия понимается как наложенье рядов одного на другой, как отказ от твердых форм значения за счет углубления роли сочетаний.

[Из письма к жене от 2.IV.1935] Линуся, спиши для нас (!) хотя бы немного Вагинова, что передаст тебе Ирина[1]. Пришли хоть 1-2 вещи. Еще — «Опыт соединения слов» — только без автографа...

[Запись от 4.IV.1935] Это первый раз в жизни (не считая Кости Вагинова, с которым это тоже было немного), когда я по-настоящему чувствую себя с другом (с мужчиной). <...>
Он [Мандельштам] мне так напоминает минутами Костеньку, что боюсь за него. А здоровье очень плохо.

[18.IV.1935] Читал Осипу Эмильевичу Вагинова, он страшно протестовал против него, кроме последнего стихотворения[2] (про ветер, снег и умиранье соловья), которое ему чрезвычайно понравилось: «Вот это настоящие посмертные стихи».
<...>
...вечером вышел с ним [Мандельштамом] грандиозный разговор о моих стихах. <...> Единственная истинная истина, что 90 % моих вещей о стихах и в узком литературном мире ассоциаций. Это (и мы согласны) близит нас с Вагиновым.

[12 мая 1935] ...читали Вагинова. Он [Мандельштам] злобствует, говорит, что это звукопреподобие, на отдельные вещи восхищается. Хвалит прозу его. Но, в сущности, боится сам себя. История здесь астрономически та же, что и со мной. Именно, где он видит вещи, близкие себе, эпохи 1908-1925 годов, он лезет в бутылку. А похожим ему мерещится любое упоминание Петербурга (Петербурга в широком смысле, с целым пластом, ему присущим).

[13 мая 1935] С Вагиновым происходят любопытнейшие явления: «Преподобие» «оказывается» замечательной книгой. Я читаю ему [Мандельштаму] вещи с перерывами, по одной, он вслушивается, запоминает, хвалит и наслаждается. Расспрашивает меня о нем. Между делом (между разговорами по поводу Вагинова) я читал свои вещи.

---

1 Ирина — старшая сестра Рудакова (18...—1942), была замужем за родным братом поэта К.Вагинова Алексеем, умершим, как и она, в 1942 г. в блокадном Ленинграде. — *Примеч. Э.Герштейн.*

2 «Норд-ост гнул пальмы, мушмулу, маслины...»

[21 мая] [Письмо жене. 7.II.1936. Когда в Воронеж приехала А.Ахматова,] Читал <...> «Вагинова» <...> «К Вагинову», — сказала А.А., то, что я тебе уже писал: дом Вагинова, и Дом Театра, и Дом Культуры друг другу мешают. Я, м.б., сумею переделать средние два стиха. Это нужно действительно[1].

И.М.НАППЕЛЬБАУМ.
Памятка о поэте — ЧТЧ. Рига, 1988. С. 89-95.

> ... Милее мука, если в ней Есть тонкий яд воспоминанья.
>
> Инн. Анненский

> Люблю слова — предчувствую паденье, Забвенье смысла их средь торжищ городских.
>
> Конст. Вагинов

В зале оперного театра, в голубой золоченой ложе бенуара сидел полковник В.

В театре было много офицеров и они, как положено, стояли у своих кресел в ожидании, пока все займут свои места. Непосредственно у барьера ложи полковника стоял офицер его же полка. За несколько минут до начала спектакля в дверях партера показалась красивая молодая дама в сопровождении спутника. Увидев офицера, дама сильно побледнела, а офицер мгновенно выхватил револьвер и направил на нее оружие.

В тот же миг полковник В. перемахнул через голубой бархатный барьер ложи и плашмя упал на плечи снизу стоящего офицера, вышибая из его рук револьвер. Таким образом не произошло несчастья, и честь полка была спасена.

Этот эпизод из далекой жизни отца поэта может служить примером, как иной раз далеко падает яблоко от своего корня.

...Закругленный угол Невского проспекта и Мойки. Особняк прежде принадлежал известному купцу Елисееву.

Здание, отданное широким жестом молодого государства петроградским писателям. «Дом искусств» — так теперь оно называется. Здесь писатели коллективно живут, работают, обсуждают написанное, спорят, дружат, влюбляются, голодают и мерзнут. Тяжелые времена становления новой жизни. 1920 год.

1 Речь идет, очевидно, о деталях стихотворения С.Рудакова «К Вагинову», текст которого нам, увы, неизвестен. — *Примеч. сост.*

Студия молодых поэтов. Сюда стекаются те, для кого творчество заменяет и хлеб и тепло.

Мы, молодые, начинающие, пришли сюда, как в храм, трепетные и алчущие. Наш Мэтр — Николай Степанович Гумилев сидит во главе длинного, узкого стола. Он — бонза с косящим глазом и бритой головой. Постукивает папиросой в холеных пальцах о крышку черепахового портсигара. И после краткого молчания начинается урок таинства — вхождения в ремесло стихосложения.

Здесь я встретилась с Константином Вагиновым. Он был одним из остальных. Позже он стал особым.

Вначале нас было 12. Затем присоединилась игривая Ольга Зив и Чуковский-младший, Николай. Он именовал себя в то время — Николай Радищев. Еще позднее блеснула кратковременным лучом Нина Берберова. <...>

Наш Мэтр понимал поэзию как амфору, сосуд, вмещающий хмельную влагу волшебного искусства. Для него поэзия была форма, хранилище мыслей и чувств.

И вдруг в этом же здании, за тем же столом, прозвучали строки:

> Палец мой сияет звездой Вифлеема, В нем раскинулся сад и ручей благовонный звенит...

Что это? Из какого сна, из каких видений?

Это был голос поэзии Вагинова. Но Мэтр не испугался, не возмутился, не отринул, он вошел в этот сад с интересом и удивлением.

<...>

Вагинов был самый маленький, самый худенький, с самым слабым голосом, самый «не такой», но сразу выразителен и значим. Сидел далеко от Мэтра, в конце длинного стола, а когда вставал и начинал читать, — возникал новый мир, ни с кем и ни с чем не сравнимый и волнующий. Читал негромко, дикция была нечеткой из-за плохого состояния рта. Но все слушали и давали уводить себя в тот призрачный, пригрезившийся поэту мир.

Наш Мэтр — истый акмеист, чья поэзия была закована в стальные рамки формы, чьи строфы, строки, слова отщелкивались, как градинки о железный лист подоконника, он — наш Мэтр, с ясным, как небосклон, мировоззрением, с зеркальной эстетикой, — он замирал и, не противясь, входил в призрачный сад поэзии Константина Вагинова.

Все то, что было вне интересов искусства, Вагинов не замечал и — увы! не понимал.

Он был нумизмат, собирал старинные книги, изучал древние языки. Он бродил по толкучкам и выискивал старинные печатки, мундштуки, перстни с камеями, геммами, которые всегда украшали его тонкие, хрупкие смуглые па-

льцы. Он был беден, но вещи как бы сами шли к нему. Люди сразу душевно располагались к его тихому голосу, к доброте, постоянно живущей в его глубоких, больших, карих, совершенно бархатных глазах.

Иногда он бывал по-детски беспомощен. Однажды спросил меня умоляюще:

— Скажи мне, какая разница между ЦК и ВЦИКом? Нет, мне этого никогда не понять! — добавил он с отчаянием.

Город был пустынен и прекрасен. Ни прохожих, ни лошадей, ни машин. Петербург превратился в декорацию. Он стал архитектурным организмом в его первородном существе. И двое молодых людей — он и она — сливались с громадой дворцов и зданий, с торцовыми мостовыми, в которых пробивалась зелень травы, с гранитными оградами Невы. Они вдвоем — Костя Вагинов и Шура Федорова — просиживали белыми ночами до утра на ступенях набережной. Оба небольшие, одного роста, одетые во что-то неприметное.

— Сидят там на Стрелке, вокруг ни души, — сказал кто-то, входя в комнату, — издали посмотреть, ну просто два беспризорника, бездомника.

А они разговаривали, говорили, говорили... Он учил, рассказывал, вспоминал, фантазировал, дарил, дарил все волнующее, будоражащее душу поэта. И она, Шура Федорова, хотя была вся другая, из другого мира, как с другой планеты, все восприняла, впитала, осознала неожиданный ход его мыслей, его странное виденье. Она росла. И поднялась, и стала его музой, сестрой, советчицей, редактором. Она стала полноправной Вагиновой.

Если оглянуться и спросить, кого же дала русской литературе поэтическая студия 20-х годов при Доме искусств? Кого выдвинула «Звучащая раковина»? Ответ однозначен — Константина Вагинова.

Даже удивительно, что читающая публика не испугалась его непонятности, его фантастики, его многоплановости. И не только читатели, но и издатели, редакции. Дух свободного творчества всех увлекал в те времена.

Когда готовилась его книжка «Стихотворения» и требовались присмотр и забота самого автора, что Вагинову было недоступно, поэт Михаил Фроман пришел на помощь растерявшемуся собрату: все переговоры, хлопоты с издательством и типографией, консультации о бумаге, шрифте, обложке и с художником — все взял на себя. И когда книжка вышла в свет, автор надписал Фроману: «Дорогой Михаил Александрович, эта книжка до некоторой степени Ваше дитя. Детский дом (типография им. Ивана Федорова) одел, не без Ваших настойчивых указаний, ее в скромное платье. Вам даже снились сны по поводу ее первого выхода из Детдома.

Примите ее от меня, как знак любви и дружбы. В. 8/III — 26 г.».

Три сборника интереснейших стихов успел выпустить Вагинов: «Путешествие в хаос», «Стихотворения», «Опыты соединения слов посредством ритма».

И вдруг — проза. Наблюдательная, ядовитая, с угадываемыми прототипами и событиями из жизни литературной среды.

Вагинов — прирожденный коллекционер; как драгоценный антиквариат, он собирал неповторимые человеческие индивидуумы. Было что-то в этом даже болезненное.

— Собирать, систематизировать можно все, и все интересно, — говорил он. — У меня будет в романе один, кто собирает свои срезанные ногти и хранит их. Странно, да? Безумец, да?

Вот именно так Вагинов коллекционировал людей, тех, кто выпадал из обычных рамок.

Странная проза — проза поэта.

<...>

В нашем доме, в нашей семье Вагинов был не просто товарищем по Студии. Он стал близким, родным, другом. Костя и Шура! Она, подруга Фредерики[1] по школе, пришла с нами в Студию из любознательности. И вошла, и вросла, и постигла тайну стихосложения. И даже написала стихотворение, помещенное в сборнике «Звучащая раковина». Наш Мэтр о ней говорил: «Федорова идеальный читатель, она может даже стихи написать. Но она не поэт».

Когда уходит из жизни близкий человек, оставшиеся обычно чувствуют себя перед ним виноватыми. Вспоминают, ищут эту вину. Хоть в чем-то, хоть в малом...

Да, он был своим, родным человеком и в моей ранней молодости, бывая в доме моих родителей на Невском, бывая не только на «Литературных понедельниках», но и просто в семье, по вечерам; дружил с каждым из членов семьи; и позже, когда я жила на Литейном проспекте и на ул. Рубинштейна со своим мужем, поэтом Мих.Фроманом. Однажды он принес мне в подарок на день рождения редкую книжку — альбом автографов, написанных Ольге Козловой, жене поэта Ивана Козлова. Альбом был роскошно издан очень малым тиражом. Но я не сохранила его. В минуту жизни трудную, в 60-х годах, он перешел в руки, весьма достойные, коллекционера высокого класса и вкуса. И как я скучаю по этому альбому!

И еще — его подарок Фредерике — крохотный столик, инкрустированный перламутром, низкий, вероятно, для курения кальяна. Он тоже не сохранен.

1 Фредерика Моисеевна Наппельбаум — сестра И.М.Наппельбаум, поэтесса, участница «Звучащей раковины». — *Примеч. сост.*

И еще главное, главное! Мы не отдавали себе отчета в том, как он был смертельно болен. Его губил туберкулез. Он таял на глазах. На щеке, на челюсти появился свищ. Союз писателей направил его в санаторий в Сухуми. Оттуда были письма. Но юг не помог, не спас. После возвращения его раздались голоса:

— Не нужен был юг, лучше север. Поздно.

А жизнь шла у каждого своя. Не только литература, поэзия, еще и быт, и любовь, и брак, и дитя...

И вот кто-то пришел и сказал: «Костя умирает».

Бросила все, помчалась туда, на Екатерининский канал, позади Консерватории. Вошла в маленькую квартиру, какую-то темную, низкую. В первой комнате у стола сидели два маленьких безмолвных человека. Отец и мать. Те, что когда-то сидели в голубой ложе. Из второй комнаты появилась Шура и сказала эти страшные слова: «У него агония...» Я вошла вслед за ней и остановилась в дверях. Он лежал лицом к стене и дрожал. Шура подошла, наклонилась, сказала: «Пришла Ида». Он сразу повернулся к двери и улыбающимся беззубым ртом радостно протянул: «А-а-а, Идочка...» И снова к стене. Я окаменело постояла в дверях и бежала от этого ужаса.

Но этот возглас, эта предсмертная улыбка остались со мной навсегда, навсегда, навсегда...

А затем был путь на Смоленское кладбище, тот же долгий тягостный путь, по которому из того же района города тринадцать лет назад мы, молодые, вместе с Константином Вагиновым шли за гробом Александра Блока.

...Да, мир поэта дрожит и вибрирует. И в том его очарование и неувядаемость.

И мы, пришедшие в конец века из самого его начала, счастливы, что не только помним, но и передаем новым людям эстафету возвышенного, чистого и недосказанного искусства.

Август 1981 г.

Н. ЧУКОВСКИЙ.

Константин Вагинов — В кн.: Чуковский Николай. Литературные воспоминания. М., 1989.

Константин Константинович Вагинов был один из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И возможно, один из самых даровитых. То, что он писал, было в свое время известно только очень узкому кругу, а сейчас неизвестно никому. Виною этому был он сам, — он не старался быть понятым. Его не понимали даже в том небольшом петербуржском литературном кружке, к которому он принадлежал. Там его считали заумником,

чем-то вроде Хлебникова, хотя он в действительности был глубоко чужд всякой зауми и все, что он писал, было полно смысла и разума. Он просто чувствовал себя отъединенным от всего и всех и излагал свои мысли так, что они обычно оставались понятными лишь для него одного. Не только его стихи, но и его романы представляют собой как бы криптограммы, как бы зашифрованные документы, причем ключ от шифра он не дал никому. Все это производит впечатление чудачества, хотя он вовсе не был чудаком, или, вернее, был чудаком поневоле. Ощущение отъединенности, о котором я говорил выше, коренилось в его большом, очень своеобразном уме, во врожденной замкнутости его духовной жизни, в особенностях его образования и, главное, в его судьбе.

А судьба его была сложная хотя бы уже потому, что был он сыном жандармского полковника и крупнейшего домовладельца.

В девяностые годы прошлого века его отец, тогда жандармский ротмистр Вагенгейм, служил в Сибири, в Енисейске, и там начальствовал над ссыльными. Он был лихой танцор, и ему удалось просватать первую невесту Сибири — дочь богатейшего золотопромышленника, городского головы Енисейска. Женившись и получив громадное приданое, Вагенгейм перевелся по службе в Петербург и купил большой доходный дом позади Мариинского театра. В этом доме, в бельэтаже, в последнем году девятнадцатого столетия родился Константин Вагинов.

Вскоре сибирский дед его умер, и семья Вагенгеймов унаследовала несметные богатства. Жандармский ротмистр стал жандармским полковником и процветал вплоть до семнадцатого года. В четырнадцатом году, когда началась война с немцами, он, подобно многим другим жандармам и чиновникам немецкого происхождения, подал «на высочайшее имя» прошение об изменении фамилии на русскую. Отсюда и родилась эта нелепая фамилия — Вагинов.

<...> Маленький Костя, мальчик хилый, не умеющий ни бегать, ни играть, жил на попечении денщика, накрашенной горничной Маши и гувернера. Он не бегал, не играл, все происходившее в семье ему было чуждо, и жил он исключительно умственными интересами. С десяти лет пристрастился он к нумизматике — коллекционированию старинных монет. Нумизматика привела его к археологии, к изучению древней и средневековой истории. История привела его к поэзии.

<...>

Гувернер научил маленького Вагинова французскому языку. Но для его занятий французского языка было мало. Двенадцати лет он увлекся эпохой Возрождения, и, для того, чтобы читать в подлиннике Данте, Петрарку, Ариосто, он изучил итальянский язык.

Для семьи жандармского полковника катастрофой была не только Октябрьская революция, но даже Февральская. Перепуганный отец, ежеминутно ожидая расправы, провел лето семнадцатого года где-то в бегах. Он вернулся домой только перед самым Октябрем. Но если Февраль был для него катастрофой, так сказать, служебной, то Октябрь был для него еще и имущественной катастрофой, то есть предельной, безвыходной. Дом был национализирован, и все наследство, полученное от енисейского золотопромышленника, конфисковано до последней копейки.

Что их спасло — не знаю. Вероятно, прежде всего — случайность. И небывалый испуг.

Это были люди, задавленные страхом. Они даже не помышляли протестовать или сопротивляться. За годы гражданской войны и позже родители Вагинова не сделали ни одной попытки уехать к белым или в эмиграцию. У них было только одно стремление — забиться как можно глубже в щель, чтобы их не заметили. Они избегали не только знакомых, но и всех людей, чтобы их не могли обвинить в каких-нибудь предосудительных сношениях и разговорах. Они не пытались устроиться на работу, боясь, что их спросят, кто они такие, и потому не получали никаких карточек. В своем бывшем громадном доме, в своей бывшей громадной квартире они занимали маленький дальний угол и почти не покидали его. Иногда мать, взяв какую-нибудь уцелевшую вещь, бежала глухими переулками на рынок — продавать. Тогда она приносила домой немного хлеба. Если на улице валялась дохлая лошадь — что случалось тогда нередко, — она, вооружившись большим ножом, подкрадывалась к ней ночью и вырезала кусок мяса. Голод терзал их, но еще больше терзал их никогда не прекращавшийся страх.

Между ними и их сыном не было ничего общего. Он жил с ними, он разделял с ними все их невзгоды, разделял даже их страх, но к тому, что происходило вокруг, — к Революции — он относился совсем иначе, чем они.

Революцию он воспринимал как исполинскую катастрофу, трагическую и прекрасную в своей величавости. Как катастрофу, подобную гибели язычества и античной философии в первые века христианства. Как катастрофу, подобную гибели загнивающей Римской империи под натиском юных варварских племен, наивных, невежественных, но несущих в одряхлевший мир свою животворную кровь. Как катастрофу, несущую освобождение. И не только народу, который он представлял скопищем полудиких людей, никогда не читавших Данте и не умевших отличить рококо от барокко, но и ему самому. Разве революция не освободила его от гувернера, от гимназии, <...> от ханжеской морали, от всей тупости и пошлости чиновничье-полицейской среды?

Он сразу воспользовался своим освобождением. Целые дни и целые ночи проводил он на улицах. В угрюмый угол к своим запуганным и одичавшим старикам он возвращался только когда доходил до полного изнеможения. Он бродил один по улицам пустеющего голодного города, влюбляясь в его небывалую архитектуру. Когда город пустеет, архитектура его выступает особенно отчетливо. Архитектура Петербурга своею грандиозностью и цельностью не сравнима с архитектурой никакого другого города в мире. Она подчиняет своим величавым законам не только здания, но и все небо над ними, и всю воду меж ними — все, видимое взору. Великолепнейшая трагическая сцена для великолепнейшей грозной трагедии, которая развивалась у Вагинова на глазах. Как гонимый вихрем, кружил он опять и опять по проспектам и площадям, и скопища домов казались ему флотом, качаемым бурной волною. Он был свободен, но не только свободен. Он был глубочайше одинок. С побежденными он порвал все связи, победители были ему неизвестны и чужды. Во время своих ночных блужданий он познакомился с девушкой Лидой, блуждавшей по городу подобно ему, и они стали блуждать вместе. Лида была профессиональной проституткой семнадцати лет. В ней было что-то странное, какая-то неестественная возбужденность, удивлявшая и поражавшая его. Мало-помалу он узнал, что она кокаинистка.

Это взволновало его, потому что он читал книгу Де-Квинси о курильщике опиума, который своими видениями украшал и преображал мир. Она угостила его белым порошком, и он стал нюхать, потому что любил ее, и ему казалось, что это сближает его с нею. Но белого порошка постоянно не хватало, его нужно было каждый день доставать. В то время на Невском, между Лиговкой и Николаевской, в подвале, была большая общественная уборная. В этой уборной по ночам собирались продавцы марафета. Каждую ночь приходил туда Вагинов с Лидой и покупал новую порцию белого порошка. За порошок нужно было платить, и он расплачивался золотыми монетами из своей нумизматической коллекции — статерами Александра Македонского и тетрадрахмами Птоломеев. Он стал кокаинистом, не мог уже без кокаина обходиться и оправдывал свое падение теорией, что опьянение не наслаждение, а метод познания. <...>

Вагинов погиб бы от кокаина, но его спасла мобилизация в Красную Армию. Красноармейцем он сражался против белополяков, потом в Сибири с Колчаком. Далеко за Уральским хребтом он заболел сыпным тифом и попал в госпиталь. После госпиталя его демобилизовали, и он вернулся к родителям в Петроград — в самую голодную пору.

<...>

Я увидел его впервые осенью 1920 года в Студии Дома искусств на семинаре Гумилева. Небольшого роста, худой,

сутулый, одет он был в красноармейскую шинель. На ногах — обмотки. Черные до блеска волосы расчесаны на косой пробор. Умное, узкое, костистое лицо с крупным носом. Несмотря на молодость (ему тогда было двадцать лет), у него не хватало многих зубов, и это очень безобразило его рот. На подбородке глубокая ямка, расположенная асимметрично и кривившая все его лицо. Гумилев и все мы, старые участники семинара, сидели, а он стоял и глуховатым твердым голосом читал свои стихи. Из-за отсутствия зубов он слегка шепелявил.

Помню, стихи мне понравились, хотя я не понял тогда в них ни слова. Они мне понравились своим звуком, в них было то, что Мандельштам называл «стихов виноградное мясо». Гумилев слушал внимательно, серьезно и, выслушав, многозначительно похвалил; однако я не сомневаюсь, что и он не понял ни слова. Остальные тоже не поняли и тоже одобрили. Была в этих стихах какая-то торжественная и трагическая нота, которая заставляла относиться к ним с уважением при всей их непонятности.

С этого дня Костя Вагинов стал посещать Студию, семинар Гумилева и сделался нашим всеобщим приятелем. Его все полюбили, да и нельзя было его не полюбить; такой он был мягкий, деликатный, вежливый, скромный и внимательный к каждому человеку. Со всей литературной молодежью он перешел на «ты». К творчеству товарищей относился он дружелюбно и доброжелательно: он всегда беспокоился, что кто-нибудь обижен, и старался поддержать и обласкать обиженного. «Količка», «Фридочка», «Алечка» называл он своих приятелей и приятельниц, и в этом не было ни малейшей фальши. Я был близок с ним четырнадцать лет, до его смерти, и знаю, что он нежно любил своих друзей. При этом он был человек насмешливый, хорошо видевший слабости и недостатки ближних; впрочем, это его свойство проявилось позднее.

К нему тоже все относились прекрасно, и в Доме искусств он скоро стал заметным явлением. Гумилев принял его в «Цех поэтов». Приняли его и в Союз поэтов. Когда из семинара Гумилева организовалась «Звучащая раковина», он стал членом и «Звучащей раковины». Осенью 1921 года Сергей Колбасьев, привезенный Гумилевым из Севастополя, организовал вместе с Николаем Тихоновым группу «Островитяне». Третьим членом группы был Вагинов. Они втроем выпустили сборничек стихов «Островитяне». Я в своих «Ушкуйниках» тоже напечатал Вагинова. Печатался он и в сборниках «Цеха поэтов», и в изданиях «Звучащей раковины». Вообще он давал стихи всем, кто желал их печатать, читал их с любой эстрады и в любом доме, куда его звали. Со всеми он был ровно мягок, удивительно вежлив, уважителен, доброжелателен, но не сливался ни с кем. Всюду он

стоял особняком. Он никогда не защищал никаких групповых взглядов, никому не подражал, ни под чьим влиянием не находился и писал стихи так, как будто рядом с ним не было ни Гумилева, ни Блока, ни Ахматовой, ни Маяковского, ни Мандельштама, ни Хлебникова, ни Ходасевича, ни Кузмина, ни Тихонова. Его стихов не понимали, но это нисколько его не беспокоило, — он просто не удостаивал делать их понятными.

Гумилев, любивший во всем регламентацию и относивший любого, даже самого ничтожного и безличного стихотворца к какой-нибудь школе, объявил Вагинова символистом. И Вагинов с этим соглашался, хотя с русским или, скажем, французским символизмом стихи его не имели ничего общего. Он был символистом оттого, что стихи его с помощью условных символов опирались на грандиозный всемирно-исторический миф, им самим созданный. Он писал стихи, как бы исходя из предположения, что миф этот известен всем. А между тем он никому не был известен, и мне лишь со временем не без труда удалось его разгадать.

Вагинов считал, что победа революции над старым миром подобна победе христианства над язычеством, варваров над Римской империей. Победу эту он считал благодетельной и справедливой, но, вместе с тем, и глубоко трагичной. Трагедию он видел в том, что вместе с рабовладельческим строем Римской империи погибла и античная культура.

Впрочем, в целом его миф был оптимистическим. Он полагал, что культура подобна мифологической птице Феникс, которая много раз сгорает на огне и потом возрождается из пепла и, следовательно, бессмертна. Пример этого — возрождение культуры в конце средних веков, в эпоху Ренессанса. Поэтому существует задача: тайно донести подлинную культуру до нового возрождения Феникса. Люди, на долю которых пало выполнение этой задачи, обречены на полное непонимание, на оторванность от всего окружающего и живут почти призрачной жизнью. <...>

Тем местом, где культура должна была возродиться, по его убеждению, был Петербург. <...>

От утверждал, что при смене религий боги прежней культуры становятся чертями новой. Так как революцию миф его рассматривал как смену религий, то он полагал, что все деятели и защитники старой культуры будут теперь в глазах новых людей чертями. «Ты в черных нас не обращай», — молил он в одном стихотворении.

Кроме Феникса был в его мифологии еще и Филострат. Это был весьма неясный образ прекрасного античного юноши с миндалевидными глазами, кочевавший из стихотворения в стихотворение, а из стихотворений попавший и в первый роман Вагинова. В вагиновском мифе Филострат — любовник Психеи, т. е. души. <...>

Конечно, Психея — душа самого Вагинова, и поэтому иногда кажется, что образ Филострата сливается с образом самого автора. Тем более что Филострат был, разумеется, символом того самого подвижника-гуманиста, которому суждено втайне пронести культуру сквозь сумрак нового средневековья до счастливого мига возрождения птицы Феникс. Однако слияние это только кажущееся. Образ автора живет в произведениях Вагинова совершенно независимо от образа Филострата. Вагинов изображает себя самого в виде жалкого уродца с перепонками между пальцами шестипалых рук[1]. В действительности он вовсе не был уродом и руки имел самые обыкновенные, но таким он входил в свой собственный миф. Изображая себя уродом, он старался выразить болезненное ощущение своего разлада с окружающим его миром, которым он тяготился чем дальше, тем больше.

<...> Любопытно, что к числу <...> людей, критиковавших нэп, так сказать, «слева», относился и Вагинов. Именно в годы нэпа проявлялась его ненависть к тупому реакционному мещанству, среди которого прошло его детство. Нищие годы гражданской войны были для него годами полнейшей духовной свободы, неприкрепленности ни к какому быту, несвязанности никакими узами. Этот мир, свободный для людей мечты, казавшийся ему грандиозным, фантастическим и прекрасным, безбытным, вдруг опять наполнился бытом, стал узеньким, маленьким. <...>

Вот тут и начали появляться в его мифе первые изменения. Прежде всего в мифе — наряду с Филостратом, птицей Феникс, Психеей — возник новый персонаж — Тептелкин. Этот загадочный Тептелкин начал в вагиновских стихах вести беседы о грядущем воскресении птицы Феникс. Впрочем, Тептелкин был не вполне загадочен: в кружке друзей Вагинова скоро догадались, что это наш общий знакомый Лев Васильевич Пумпянский, литературовед, историк и философ, знаток новых и древних европейских языков, человек поразительной эрудиции.

<...>

Пумпянский был пылким поклонником стихов Вагинова. В ненапечатанной вагиновской поэме «1925 год» Тептелкин разговаривает с Филостратом, и разговор этот безусловно передает подлинные разговоры между Пумпянским и Вагиновым. <...>

1 Здесь неточно (очевидно, по памяти) передается гротескное самоироническое описание «автора» в «Козлиной песни»: «Я дописал свой роман, поднял остроконечную голову с глазами, полузакрытыми желтыми перепонками, посмотрел на свои уродливые от рождения руки: на правой руке три пальца, на левой — четыре» (*Примеч. сост.*).

Таков был Пумпянский до осени 1925 года. Осенью, в течение одного месяца, с ним произошел крутой переворот — он стал марксистом. Произошло это не без некоторого шума: целому ряду своих старых друзей написал он письма, в которых рассказывал о случившейся с ним перемене и просил с ним больше не знаться, потому что они идеалисты, фидеисты и мракобесы. Нужно сказать, что этот кроткий учтивейший человек порой и прежде писал резкие оскорбительные письма людям, которых по своей болезненной мнительности считал своими обидчиками, хотя те и не помышляли его обижать. Но тогда поводом для писем были причины личные, а не идейные. Теперь же он проделал то же самое по идейным причинам. С непостижимой быстротой прочел он всю марксистскую литературу, и не только прочел, но и запомнил, потому что память у него была удивительная. Все дальнейшие его доклады и выступления — после идейного переворота — были переполнены цитатами из классиков марксизма. Он как-то мгновенно, без всяких переходов, превратился в готового ортодокса, в типичнейшего начетчика и цитатника.

В вагиновский миф вошел Тептелкин, и сразу же отношение Вагинова к мифу изменилось. Прежде всего вдруг получилось так, что миф этот вовсе не вагиновский, а тептелкинский. <...>

Битва Вагинова с Тептелкиным отражена не столько в его стихах, сколько в его прозе — в романе «Козлиная песнь». <...>

<...> Вагинов, написав свою злую и смелую книгу, остался тем, кем был раньше, — робким, скромным, застенчивым добряком-чудачиной. Он женился, но по-прежнему жил в поразительной бедности, настолько для него правильной и естественной, что, кажется, он ничуть ею не тяготился. Из года в год ходил он в одном и том же заношенном бобриковом пальтишке, в детской шапке-ушанке, набитой ватой и завязывавшейся под подбородком. Как многие люди той эпохи, он был безразличен ко всякому, даже элементарному, комфорту. Если у него появлялись хоть небольшие деньги, он тратил их на книги. Любимейшее его занятие было — выйти утром из дому и до вечера обойти все букинистические лавки, ларьки и развалы города. В каждой лавке оставался он подолгу, перелистывал множество книг — прочтет десять страниц по-итальянски, потом пятнадцать по-французски. Букинистов называл он по имени-отчеству, и они тоже звали его Константином Константиновичем и приглашали в комнату за лавкой попить чаю. Покупал он книги только редчайшие — томики итальянских или латинских поэтов, изданные в шестнадцатом веке, — или диковинные: старинные сонники, руководства по поварскому искусству. Вообще он был тончайший любитель и знаток старинных вещей и старинного обихода. Он, например, прелестно танцевал ме-

нуэт. Где-нибудь на вечеринке, немного выпив, он вдруг отходил от стола и, счастливый, начинал выделывать изящнейшие па восемнадцатого века, — танцевать ему приходилось одному, потому что в нашем кругу не было дам, умевших танцевать менуэт. Из любви к старинному обиходу он долго жил без электричества и освещал свою комнату только свечами. Это кончилось тем, что его сосед, электромонтер по профессии, думая, что Вагинов не проводит у себя электричества из бедности, сам достал провод, соорудил у него все, что надо, ввинтил лампочки, а Вагинов из деликатности не посмел отказаться.

Вообще он был человек на редкость деликатный и милый, и я любил с ним встречаться на наших скромных пиршествах, устраиваемых время от времени то в одной, то в другой литераторской квартире. Пил он умеренно, выпив, становился еще милее, но имел одну странность, известную всем его друзьям: любил прятать недопитые бутылки с вином за шторы или под стол. У него всегда был страх, что вина не хватит до конца пиршества. В одном его стихотворении так и сказано:

И стало страшно, что не хватит Вина средь ночи.

В конце двадцатых годов и в начали тридцатых мы с ним каждый месяц встречались в бухгалтерии «Издательства писателей в Ленинграде» и долгие часы просиживали вместе, ожидая, когда кассир привезет из банка деньги. Директор издательства Самуил Миронович Алянский, прекрасный человек, создавший некогда издательство «Алконост», друг Блока, Федина и многих других писателей, установил такой порядок: деньги, причитающиеся литератору по договору, выплачивались не в сроки, предусмотренные договором, а небольшими суммами помесячно. Это было выгодно издательству, но мы мирились с этим, потому что это давало нам возможность рассчитывать бюджет на несколько месяцев вперед. Вагинов получал 100 рублей в месяц, и это было все, на что он жил с женой.

В эти годы он больше сил отдавал прозе, чем стихам, но продолжал писать и стихи. Вот как изображал он в стихах свою тогдашнюю жизнь:

Два пестрых одеяла, Две стареньких подушки,
Стоят кровати рядом, А на окне цветочки —
Лавр вышиной с мизинец И серый кустик мирта.
На узких полках книги, На одеялах люди —
Мужчина бледносиний И девочка жена <...>

Он действительно был в те годы «бледносиним», потому что болел туберкулезом. Чахотка промучила его лет семь и в конце концов свела в могилу.

<...>

Он медленно умирал. Наступила самая трагическая часть его жизни, — куда более трагическая, чем прощание с мифом, владевшим всею его молодостью. Именно тогда, когда он разделался с туманными аллегориями, достиг зрелости и почувствовал влечение к изображению живой жизни, болезнь отняла у него силы и повела к смерти. В начале тридцатых годов, в жадных поисках нового материала, он, преодолевая слабость, принялся изучать тот Ленинград, с которым всегда жил рядом и который совсем не знал — ленинградские заводы.

Помню, много раз ездили мы с ним вместе на завод электроламп «Светлану». Мохнатая изморозь покрывала стекла трамвая, ползущего на Выборгскую сторону, а посреди вагона стоял Вагинов — все в той же шапке-ушанке, завязанной тесемочками под подбородком, все в том же бобриковом пальто, — держался за ремень и, глядя в книгу, читал Ариосто по-итальянски. «Светлана» был завод женский — в просторных чистых цехах за длинными столами сидели работницы в белых халатах и складывали мельчайшие детали из стекла и металла. Все заводские организации — партком, завком — были в руках у женщин, и дух мягкой женственности, девичества, царивший на заводе, чрезвычайно нравился Вагинову. Он тоже там всем полюбился — добротой, скромностью и столь необычной старинной учтивостью.

— Славно, — сказал он мне как-то, когда мы возвращались с ним со «Светланы». — Совсем как бывало в Смольном институте.

Потом мы с ним встретились на другой совместной работе: мы оба приняли участие в составлении книги «Четыре поколения» — о рабочих Нарвской заставы. Книгу эту делали четыре ленинградских литератора: Сергей Спасский, Антон Ульянский, Вагинов и я, и то была интереснейшая, поучительнейшая работа. Мое участие в этой работе было весьма скромным, и это дает мне право сказать, что книга получилась замечательная — одна из лучших документальных книг о жизни петербургского рабочего класса с восьмидесятых годов до середины первой пятилетки. Душой этого дела был даровитый писатель Антон Ульянский, бывший типографский рабочий, автор нескольких очень хороших повестей и рассказов, ныне несправедливо забытый. В течение нескольких месяцев все дни проводили мы на заводах, разговаривали с рабочими и записывали их рассказы. <...> Вагинову, с его острейшим чувством истории, с его пронзительной любовью к родному городу, все это было глубоко интересно. Как ни странно, перед ним открывался новый мир. К работе он отнесся влюбленно и, с постоянно повышенной температурой, упорно ездил на заводы, пересиливая себя. Но силы быстро убывали.

Поздней осенью Литфонд отправил его на зиму в Крым, в туберкулезный санаторий. До тех пор он никогда не бывал на юге[1], да и вообще никогда не расставался с родным своим городом, если не считать восемнадцатого — девятнадцатого года, когда он служил в Красной Армии. И вот он ехал в Крым. Все знали, что он обречен. Знал это и он сам.

<...>

Вернулся он в феврале и был уже так слаб, что не мог сам подняться к себе на третий этаж. Помню, как он вылез из извозчичьей пролетки, и мы долго стояли с ним вдвоем перед дверью его дома на засыпанной снегом солнечной улице в ожидании людей, которые внесут его наверх, и как он ласково и кротко озирался, счастливый тем, что снова в Ленинграде. Через несколько дней он написал стихотворение «Ленинград» <...>

Вообще он очень много писал в последние дни своей жизни. За месяц до смерти он пришел ко мне и, лежа у меня на диване, рассказывал мне о романе, который пишет. Роман назывался «Собиратель снов», и главным его героем должен был быть человек, который коллекционирует сновиденья.

Нужно сказать, что Вагинов сам всю жизнь был коллекционером, и в этом заключалась одна из характернейших его черт. В отрочестве он коллекционировал старинные монеты. Потом стал собирать спичечные коробки, когда их не собирал еще никто. Одно время он коллекционировал ресторанные меню и всевозможные рецепты приготовления разных диковинных блюд. Всю свою жизнь собирал он старинные, странные и редкие книги. <...>

В коллекционерстве Вагинова никогда не было ничего спортивного, ни малейшего стремления превзойти кого-либо, похвастаться обладанием тем, чего у других нет. Собираемые предметы интересовали его, потому что отражали жизнь, историю, общественные вкусы и взгляды. <...> Вагинов сам занялся собиранием снов для коллекции своего героя. Он рассказал мне, как выспрашивал сны у больных в туберкулезном санатории, где лечились люди самых разных профессий.

<...> Незавершенный роман свой о сновидениях Вагинов за несколько дней перед смертью передал Николаю Семеновичу Тихонову; не знаю, сохранилась ли у Тихонова эта рукопись[2].

1 Не совсем точно: В 1913 г. Вагинов «совершил единственное за свою жизнь большое путешествие по Каспийскому и Черному морям и Кавказу» (Никольская Т. К.К.Вагинов // ЧТЧ. С. 671.). — *Примеч. сост.*

2 Наличие этого варианта романа в архиве Н.С.Тихонова нам установить не удалось, но герой, собирающий сны, есть в романе Вагинова «Гарпагониана (*Примеч. сост.*).

Умер Вагинов в конце апреля 1934 года. Многие пошли провожать его на Смоленское кладбище, — помню плачущего Сережу Колбасьева, помню Тихонова, Федина, Всеволода Рождественского, Михаила Фромана и жену его Иду Наппельбаум. Тут я впервые увидел отца Вагинова: маленький лысенький старичок, удрученный и тихий, он теперь служил кассиром в какой-то артели, и во внешности его не было ничего ни полковничьего, ни жандармского, ни миллионерского.

День был удивительный, весенний, теплый, влажный, солнце сияло в чистейшем небе, но город тонул в туманной дымке, и перед похоронной процессией неожиданно выплывали его колонны, фронтоны и шпили. Вагинов медленно ехал в гробу через Неву по мосту лейтенанта Шмидта, и Филострат, незримый, шел рядом, и роза со стебелька улыбалась ему в последний раз.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Абраксас: [Лит.-худож. альманах]. [№ 1] — Пб., октябрь 1922; [№ 2] — Пг., ноябрь 1922; [№ 3] — Пг., февраль 1923.
АПО — Альманахи. Петербургское объединение обновленного искусства. Пг., 1922. № 1.
Город: Литература. Искусство: [Альманах]. Пб., 1923. Сб. 1.
ЖИ — Жизнь искусства. Пг.
ЗПТ — Записки передвижного театра П.П.Гайдебурова и Н.Ф.Скарской. Пб.
ЗР — Звучащая раковина: Сборник стихов. Пб., 1922.
Ковш — Лит.-худож. альманахи. Л.
Костер — Ленинградский Союз поэтов. Костер: [Кол. сб. стихов]. Л., 1927.
ЛО — Лит. обозрение. 1989. № 1.
О — Островитяне: [Альманах]. Пб., 1921. [Сб.] 1.
Родник — 1989. № 6.
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) в Ленинграде.
Театр — 1991. № 11.
У — Ушкуйники: Альманах. Пб., 1922.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.
ЧТЧ — Четвертые тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988.

Б — Конст. Вагинов. Бамбочада. Л., 1931.
ЗВ — Конст. Вагинов. Звезда Вифлеема. Абраксас, [№ 2]; ЛО.
[КБ] — К.К.Вагинов. [Стихотворения] // Кликалище благоутешное. Пб., май 1926 (рукописный сборник в собрании М.С.Лесмана).
КП — Конст.Вагинов. Козлиная песнь. Л., 1928.
МГА — Конст. Вагинов. Монастырь Господа нашего Аполлона. Абраксас. [№ 1]; ЛО.
ОСС — Конст.Вагинов. Опыты соединения слов посредством ритма. Л., 1931.
ПН — Константин Вагинов. Петербургские ночи // Островитяне. Пб., 1922 (рукописный сборник в собрании М.С.Лесмана).
ПХ — Конст.Вагинов. Путешествие в хаос. Пб., 1921.
С 1926 — Конст. Вагинов. [Стихотворения]. Л., 1926.
СС — Константин Вагинов. Собрание стихотворений / Сост., послесл. и примеч. Л.Черткова; Предисл. В.Казака. München, 1982.
ТДС — Конст. Вагинов. Труды и дни Свистонова. Л., 1929.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Поэтическое наследие Константина Вагинова нельзя назвать обширным, и в настоящее издание вошли все его стихотворные произведения, которые были нам доступны. Немалая часть этих текстов была опубликована при жизни автора в отдельных и периодических изданиях; в этих случаях после названия стихотворения в примечаниях указываются все его прижизненные публикации. Для стихотворений, не включавшихся автором в типографские сборники, указаны источник публикуемого текста и посмертные публикации (в силу истории подготовки настоящего издания, до 1991 года). Учтены также варианты и разночтения.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке и разделены на три условных периода. Датировка проставлена лишь в том случае, если она указывалась в каком-либо из изданий. Циклы, или маленькие поэмы, составленные самим автором, печатаются в виде цикла, несмотря на то, что отдельные стихотворения, составляющие их, могли появляться в других изданиях в качестве самостоятельных.

Составленные автором поэтические книги, являющиеся, в сущности, большими циклами («Путешествие в хаос», «Петербургские ночи», «Звукоподобия»), публикуются в максимальном соответствии авторскому замыслу, с оговоренными в примечаниях исключениями.

Составитель выражает искреннюю благодарность М.Л.Гаспарову и А.Т.Никитаеву за помощь в работе над примечаниями.

I. СТИХИ 1919-1923 гг.

В этот раздел вошли стихи из двух книг — «Путешествие в хаос» и «Петербургские ночи», а также немногочисленные стихи того же времени, не включенные автором в эти книги.

«Путешествие в хаос» объединяет стихи 1919-1921 гг. В настоящем издании стихи помещены в том порядке, в каком они идут в книге, вторую часть которой составляет цикл «Острова», датированный 1919 г. На титуле этой тоненькой, малоформатной книжки значится: «Издание Кольца Поэтов. MCMXXI. Петербург»; на обороте его: «Настоящее издание отпечатано в 26-й Государственной типографии в количестве 450 экземпляров. Из них 50 нумерованных в продажу не поступают»; «Достохвальному аббатству Гаэров посвящает свое путешествие Константин Вагинов». К собранным в Приложении печатным отзывам на вагиновский поэтический дебют следует прибавить еще один — устный отзыв Гумилева, о котором упоминает Л.Чертков: «несмотря на жеманство и надуманность это начало большого поэта» (СС, с. 216).

«СЕДОЙ ТАБУН ИЗ ВИХРЕВЫХ СТЕПЕЙ...» — ПХ, с. 7.

«ЕЩЕ ЗАРИ ОРАНЖЕВОЕ РЖАНЬЕ...» — ПХ, С. 8. *Иоконоанн* или Иоконаан — древнееврейское имя, трансформированное христианской традицией в «Иоанн»; ср. ниже в этом стихотворении мотив головы, как бы отделенной от тела, подобно отрубленной голове Иоанна Крестителя.

«ПОД ПЕГИМ ГОРОДОМ ЗАРЯ ИГРАЛА В ТРУБЫ...» — ПХ, с. 9. *...откос Кузнечный* — Кузнечный переулок, пересекающийся с Пушкинской улицей (здесь и ниже речь идет о топографических реалиях Петербурга), где, как можно установить путем сравнения соответствующих мест из стихотворений Вагинова («Кафе в переулке», «Петербургский звездочет») и его прозы (ЗВ, КП), находилось ночное кафе, с которым были связаны наркотические переживания вагиновской юности. *...желтого Иосифа же-*

на — то есть Богоматерь; желтый цвет несет в себе определенную духовную символику, ср. желтое облачение Иосифа Обручника на ряде изображений. Следующие строки, возможно, являются преломлением недавно пережитых поэтом впечатлений гражданской войны (ср. «Бегут туманы...», «Надел Исус...»).

«БЕГУТ ТУМАНЫ В РОЗОВЫЕ ДЫРЫ...» — ПХ, с. 10. *Мария в ресторане О сумасшедшем сыне...* — ср. ниже тему безумного Иисуса.

«НАДЕЛ ИСУС КОЛПАК ДУРАЦКИЙ...» — ПХ, с. 12. *Овцы* — возможно, аллюзия к евангельской аллегории стада — оно разбрелось, ибо Пастырь безумен.

«НАБУХНУТ БУБНЫ ЗВЕЗД НАД НАМИ...» — ПХ, с. 14. *Выйдет ночь* — та же неявная персонификация ночи — «вышла ночь» — в стих. Н.Заболоцкого «Красная Бавария», 1927. *Финикия* — в древности цветущая страна на восточном побережье Средиземного моря, была завоевана Александром Македонским.

«УЖ СИЗЫЙ ДЫМ ВЛЕТАЕТ В ОКНА...» — ПХ, С. 15. *Аврора* (рим. миф.) — богиня утренней зари.

«ТАЕТ МАЯТНИК, УМОЛКАЕТ...» — ПХ, с. 16. Возможно, правильнее — «умолкают». В СС — «И хрустальный звон колокольный». *Человеческий сын* — то есть Иисус Христос.

Все стихотворения до этого включительно можно считать собственно циклом «Путешествие в хаос», хотя в самой книге это специально не отмечено; он объединен сквозными образами, общей темой, наблюдается даже как бы внутренний сюжет, чего нельзя сказать о цикле, обозначенном: «Острова. 1919» и составляющем вторую часть сборника. В него входят все последующие стихотворения, включая, очевидно, «Кафе в переулке».

«О, УДАЛИМСЯ НА ОСТРОВА ВЫРОЖДЕНИЙ...» — ПХ, с. 18-19. *С тихими бубенцами Его колпак* — ср.: «Бубенцы, бубенцы на дураке!» (Е.Гуро, «Лунная»); «Все вы, люди, лишь бубенцы на голове у бога» (В.Маяковский, «Владимир Маяковский»). «По мнению А.М.Панченко, <...> образ Христа в шутовском колпаке восходит к римским сатурналиям и связан с бичеванием» — Т.Никольская, ЧТЧ, с. 80.

«КАК НЕЖЕН ЗАПАХ ТВОИХ ЛАДОНЕЙ...» — ПХ, с. 20. *Святой Марк*, покровитель Венеции, изображался на венецианских монетах. Вообще нумизматическая тема характерна для Вагинова, знатока и собирателя старинных монет — ср. описание детства «неизвестного поэта» в КП.

«СЕГОДНЯ — ДЫРЫ, НЕ ЗРАЧКИ У ГЛАЗ...» — ПХ, С. 21. *Адмиралтейская игла* — аллюзия к известным строкам из «Медного всадника» А.С. Пушкина.

НА НАБЕРЕЖНОЙ — ПХ, с. 22.

«В СТАРИННЫХ ЗАПАХАХ, ГДЕ ЗОЛОТО И БАРХАТ...» — ПХ, с. 23.

«ЛУНА, КАК ГЛАЗ, НАЛИЛАСЬ КРОВЬЮ...» — ПХ, с. 24-25.

«ЕСТЬ СТРАННЫЕ КОВРЫ, ГДЕ ЛИНИЙ НЕЯСНЫ...» — ПХ, с. 26-27. Видимо, именно это стихотворение, а также «В старинных запахах...», послужили основой словам о «романсовости» Вагинова (В.Лурье), сопоставлению его с Вертинским (Л.Борисов и др.).

КАФЕ В ПЕРЕУЛКЕ — ПХ, с. 28-29. Единственное стихотворение Вагинова, где психоделический опыт изображен описательно, снаружи, а не изнутри. *На улице стоит поэт чугунный* — памятник Пушкину в сквере на Пушкинской улице; см. примеч. к стихотворению «Под пегим городом заря играла в трубы...».

«МЫ ЗДЕСЬ ВДАЛИ ОТ СУГРОБОВ...» — СС, с. 37, с уцелевшего корректурного оттиска ПХ. Стихотворение исключено, очевидно, по цензурным соображениям.

Следующие четыре стихотворения даны в СС по рукописным автографам, относящимся к сборнику ПХ.

«НА ПАЛУБАХ ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА...» — СС, с. 38. Устрашающе-декадентская, разложенная интерпретация популярной романтической

темы Летучего Голландца, корабля-призрака; ср. в известном цикле Н.С.Гумилева «Капитаны». В СС: «Среди негров». Стихотворение, видимо, не вошло в сборник как слабое, чересчур юношеское.

«УМОЛКНЕТ ЛИ ПРОКЛЯТАЯ ШАРМАНКА?..» — СС, с. 39. Посвящалось В.В.Смиренскому (см. СС, с. 209). *Стигматы* — следы гвоздей на ступнях и ладонях Спасителя. Тема оскорбления классического метра навеяна, очевидно, занятиями в студии «Звучащая Раковина», можно предположить, что за классической формой скрыта полемика с Гумилевым (ср. воспоминания в Приложении); оскорбление метра приравнивается к оскорблению природы и веры, и в этом чувствуется ирония.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ — СС, с. 40. *Тяжелые лиры* — возможно, аллюзия к названию поэтической книги Вл.Ходасевича «Тяжелая лира» (1922). *На Урале* Вагинов побывал с Красной Армией, ср. стих. «Один бреду среди рогов Урала...» и др.

«ЗА ОСОКУ, ЗА ЛЕД, ЗА СНЕГА...» — СС, с. 41. Вторая строфа — явно обращение к самому себе, отвыкшему за годы войны и скитаний от домашнего уюта.

«ВЕЧЕРОМ ЖЕЛТЫМ КАК ЗРЕЛЫЙ КОЛОС...» — Публикуется по автографу в альбоме Б.В.Смиренского (очевидно, листок наклеен позднее) — ЦГАЛИ, ф. 2823, оп. 1, ед. хр. 89. л. 51. Перед этим стихотворением — двустишие:

Осыплют липы пьедестал чугунный И дети в ночь уйдут пересыпать песок,

приведенное, по свидетельству Л.Черткова, в неопубликованных мемуарах Б.Смиренского «Странствующий энтузиаст». (Двустишие приведено в СС на с. 89.) Ниже в альбом наклеена обложка «Путешествия в хаос».

ПЕТЕРБУРГСКИЕ НОЧИ

Книгу «Петербургские ночи» Вагинов составил в 1922 г. и надеялся выпустить в Госиздате или в издательстве «Круг». В одном из писем того периода он писал, что в этой книге «отражается Петербург, не современный, а, надеюсь, и вечный, его одинокая борьба и жизнь одного из его жителей. Почти все стихи отдельно были напечатаны в разных журналах. В официальных органах я почти не участвую, считая, что это было бы недобросовестно с моей стороны, так как я резко расхожусь с современностью». В другом письме он называет сборник «книга романтическая и фантастическая». Еще одна выдержка из письма 1922 г.: «Я проходил через все поэтические кружки и организации; теперь мне это давно не надо. <...> Я хочу работать один» (СС, с. 217; оригиналы писем нам, увы, недоступны).

В настоящем издании «Петербургские ночи» воспроизводятся по рукописному автографу, хранящемуся в Петербурге в собрании М.С.Лесмана. (Пользуемся случаем, чтобы выразить глубокую признательность Наталии Георгиевне Князевой, предоставившей нам возможность ознакомиться с материалами этого собрания.) На обложке экземпляра значится: «Константин Вагинов. Петербургские Ночи. Островитяне. Петербург. 1922». На титуле: «Петербургские ночи. Сочинение Константина Вагинова. 1922». Книга представляет собой стопку не сшитых листков небольшого формата, поделенных на семь разделов, каждый из которых заключен в отдельную «подобложку» — двойной тетрадный листок с римской цифрой, обозначающей номер раздела; все вместе заключено в общую бумажную обложку. Немногочисленная правка более светлыми чернилами и общая пагинация теми же чернилами говорят о работе Вагинова по подготовке книги к публикации. В конце книги имеется составленное автором «Содержание» с указанием страниц, а также следующий список:

«Книги Островитян.

«Островитяне I» — альманах: стихи К.Вагинова, С.Колбасьева и Н.Тихонова. Петербург 1922 г. С.Колбасьев — «Открытое Море»: поэма. Петербург 1922 г. Николай Тихонов — «Орда». Стихи. Петербург 1922 г. «Островитяне I — II» — альманах: стихи К.Вагинова, П.Волкова, С.Колбасьева и Н.Тихонова. Петербург — Гомель 1922 г. Константин Вагинов — «Петербургские ночи». Стихи. Петербург — Гомель 1922 г. Николай Тихонов — Былина (готовится) Его же — «Лоскутное Знамя» — рассказы (готовится) С.Колбасьев — стихи (готовится) Константин Вагинов «Монастырь Господа нашего Аполлона» — повесть (готовится)»

Печатая «Петербургские ночи», мы сохраняем состав и порядок следования текстов, за исключением тех немногих случаев, когда стихотворение входило в более ранний сборник «Путешествие в хаос» или позже было включено автором в один из циклов. Все эти случаи оговариваются в примечаниях; здесь же указывается номер страницы рукописного сборника для каждого текста. В текстах, не опубликованных при жизни автора, сохраняется пунктуация рукописного оригинала.

«ПЕРЕВЕРНУЛ ГЛАЗА И ОСМОТРЕЛСЯ...» — ПН, с. 5, перед первым разделом — в качестве пролога ко всей книге. СС, с 43. Зачеркнутый вариант последней строки: «Открыв тоскливый и квадратный рот».

«В ТВОИХ ГЛАЗАХ ОПЯТЬ ЗАТРЕПЕТАЛИ КРЫЛЬЯ...» — ПН, с. 9; Театр, с. 172 (А.Герасимова). Стихотворение явно связано с циклом «Острова» из «Путешествия в хаос». Далее шло выпущенное нами стихотворение «Как нежен запах твоих ладоней...» (ПХ, с. 20).

«В ГЛАЗАХ АРАПА НОЧЬ И ГОРЫ...» — ПН, с. 11; Театр, с. 172 (А.Герасимова). Ср. образ «арапа» в ПХ.

«У МИЛЫХ НОГ ВЕНЕЦИАНСКИХ СТАТУЙ...» — ПН, с. 12; ЗР, с. 74. («Звучащая раковина», сборник стихотворений молодых поэтов, посещавших студию Н.С.Гумилева, был издан уже после его гибели на средства художника-фотографа М.С.Наппельбаума, отца поэтесс И.М. и Ф.М.Наппельбаум.) *Стрелка* — Стрелка Васильевского острова. *Стрекоза*, как и трава на улицах, и запах моря — приметы послереволюционного Петрограда, голодного, без промышленности и транспорта, о котором Вагинов писал в КП: «А какой город был! Какой чистый, какой праздничный!..»

«ПЕРЕВЕРНУТСЯ ЗВЕЗДЫ В НЕБЕ ПАДШЕМ...» — ПН, с. 13; Театр, с. 172 (А.Герасимова). Далее шло выпущенное нами стихотворение «Седой табун из вихревых степей...» (ПХ, с. 7).

«В ВОЗДУХ ЖЕЛТЫЙ БРОСЯТ ОСИНЫ...» — ПН, с. 15; Театр, с. 172 (А.Герасимова). *Арап* — см. выше; *фригийский колпак* — символ Французской революции.

«ГРЕШНОЕ НЕБО С ЗВЕЗДОЙ ВИФЛЕЕМСКОЮ...» — ПН, с. 16; Театр, с. 172 (А.Герасимова). *Звезда Вифлеема*, по Евангелию, зажглась как знак Рождества Христова: символ Рождества (ср.: дорогой Новогодней). В прозаическом произведении Вагинова с этим названием (1922) «Звезда Вифлеема» ассоциируется с красноармейской звездой, становится символом разрушительных новых сил, вызывающих у автора резкое неприятие.

«СИНИЙ, СИНИЙ ВЕТЕР В ТЕЛЕ...» — ПН, с. 19; Театр, с. 172 (А.Герасимова).

«ПУСТЬ СЫРОЮ СТАЛА ДУША МОЯ...» — ПН, с. 20; Театр, с. 172 (А.Герасимова).

«С АНТИОХИЕЙ В ПАЛЬЦЕ ШЕЛ ПО УЛИЦЕ...» — ПН, с. 21; Островитяне: [машинописный сборник], I; СС, с. 45; ЧТЧ, с. 93, в воспоминаниях И.М.Наппельбаум. *Антиохия* — в эпоху эллинизма крупный город в северной Сирии, столица Сирийского царства. *Геката* (греч. миф.) — богиня мрака, ночных видений и чародейства, объект поклонения в эзотерических культах.

«НАМЫЛИЛ СЕРДЦЕ — ПУСТЬ НЕ БОЛЬНО БУДЕТ...» — ПН, с. 22; СС, с. 46. ...*ветер за окном рекламу бьет* — ср. «Шумит и воет в ветре Гала-Петер» («Петербургский звездочет»); «хочется мне увидеть Лиду мою, и ночное кафе, и синие рекламы Гала-Петер» (МГА). Можно предположить, что реклама шоколада марки «Гала-Петер» соседствовала с памятным поэту ночным кафе на Пушкинской улице.

«СНОВА УТРО. СНОВА КУСОК ЗАРИ НА БУМАГЕ...» — ПН, С. 23; Родник, с. 72 (Т.Никольская).

«БЕГАЕТ ПО ПОЛЮ НОЧЬ...» — ПН, с. 24; Родник, с. 72 (Т.Никольская).

«КАЖДЫЙ ПАЛЕЦ МОЙ — УМЕРШИЙ ГОРОД...» — ПН, с. 27; СС, с. 47, с разночтением первой строки: «Каждый палец мой — исчезнувший город». В.Л. — см. примеч. к стих. «Упала ночь в твои ресницы...»

«В СОЛЕНЫХ ЖЕМЧУГАХ СПОКОЙНО ХОДИТ МОРЕ...» — ПН, с. 28; Театр, с. 172 (А.Герасимова).

«СПИТ В РЕСНИЦАХ ТВОИХ ЗОЛОЧЕНЫХ...» — ПН, с. 29; О, с. 9; СС, с. 48. *Огород из роз* — ср. стих. «Пусть сырою стала душа моя...»

«УПАЛА НОЧЬ В ТВОИ РЕСНИЦЫ...» — ПН, С. 30; ЗР, с. 76; СС, с. 49. Посвящение «В.Л.» раскрыто в СС (с. 209) как «Вере Лурье» (поэтесса, участница «Звучащей раковины», эмигрировавшая за границу; см. ее статью в Приложении). *Антиохия* — см. примеч. к стих. «С Антиохией в пальце шел по улице...». *Орфей* (греч. миф.) — певец и музыкант, покорявший своим волшебным искусством не только людей, но также богов и природу, Миф об Орфее, в частности о его сошествии в Аид за Эвридикой, очень важен в вагиновском «личном эпосе» (ср. стих. «Эвридика» и др.). Здесь находится в связи с темой «не человека», впоследствии одной из главных тем поэзии Вагинова.

«ПОКРЫЛ, ПРИКРЫЛ И ВНОВЬ ПОКРЫЛ СОБОЮ...» — ПН, с. 31; ЗР, с. 75; СС, с. 50.

«ОПЯТЬ У ОКОН ЗОВ МАДАГАСКАРА...» — ПН, с 32; У, с. 27; СС, с. 51. *Желтый* — здесь в двойном значении: символическом, как цвет духа, и физиологическом, в ряду определений: «худой, больной...».

«КАМИН ГОРИТ НА ПЛОЩАДИ ОГРОМНОЙ...» — ПН, с. 33; У, с. 25; СС, с. 52. Последняя строфа восстановлена по рукописи. В «Ушкуйниках» (сборнике, который издал Н.Чуковский: историю этого издания, довольно забавную, можно прочитать в его воспоминаниях о Мандельштаме, в кн.: Чуковский Николай. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 156 — 162) строфа, быть может, из цензурных соображений, была заменена на следующую:

> Крутись, сырая ночь, в ее глазах восточных: Старик, старик, куда ее ведешь? Луна, как червь, мой подоконник точит, Ужели завтра снова запоешь?

Описанная в стихотворении пара может читаться и как Мария с Иосифом во время бегства в Египет, и как поэт (во многих стихотворениях проецирующий себя на образ старика) и его возлюбленная; ср.: «Ты помнишь ли костры на площади огромной, Где мы сидели долго в белизне ночной» («В соленых жемчугах спокойно ходит море...»).

«ОДИН БРЕДУ СРЕДИ РОГОВ УРАЛА... — ПН, с. 34; ЗР, с. 77; СС, с. 53. *Браслеты кораблей касались островов* — темная метафора несколько проясняется, если сравнить ее со стих. «Как нежен запах твоих ладоней...»

«В НАГОРНЫХ ГОРНАХ ГУЛ И ГУЛ И ГРОМ...» — ПН, с. 37; О, с. 7; СС, с. 54. Этим стихотворением открывалась подборка стихотворений Вагинова в альманахе «Островитяне. I», уже не машинописном, а изданном типографским способом, тиражом 1000 экз. весной 1922 г., хотя датирован он декабрем 1921. В альманах вошли стихи Вагинова, Тихонова, Колбасьева. Первый номер стал единственным и последним. В рукописи ПН имеется переправленный вариант первой строки: «На горных горнах гул и гул и гром». *Мцхета* — древний храм в Грузии.

Далее в рукописи следует стихотворение «Любовь опять томит, весенний запах нежен...», позже включенное автором в цикл «Финский берег» и публикуемое ниже в составе этого цикла.

«И УМЕР ОН НЕ ПРИ ЛУНЕ ЧЕРВОННОЙ...» — ПН, с. 39; О, с. 8; СС, с. 56. Далее в рукописи ПН следует стихотворение «Двенадцать долгих дней в груди махало сердце...», также вошедшее в «Финский берег».

«Я ВСТАЛ ПОШАТЫВАЯСЬ И ПОШЕЛ ПО СТЕНКЕ...» — ПН, с. 41; СС, с. 58. Миф о пришествии Аполлона — жестокого и злого божества, требующего кровавой жертвы — один из основных мифов того, что Л.Чертков назвал вагиновским «туманным эпосом». Ср.: «В крылатых облаках...», МГА и др. Одним из источников такого образа Аполлона следует назвать новеллу У.Патера «Аполлон в Пикардии» в его книге «Воображаемые портреты» (рус. пер. П.Муратова, 1908 и 1916), по сообщению А.И.Вагиновой, любимой книге Вагинова с юных лет.

«ПАЛЕЦ МОЙ СИЯЕТ ЗВЕЗДОЙ ВИФЛЕЕМА...» — ПН, С. 42 (с вариантом 4-й строки: «...песни бренчит»); ЗР, с. 73; СС, с. 59. См. примеч. к стих. «Грешное небо с звездой Вифлеемскою...». *Сенная* — площадь в Петербурге. Стихотворение произвело большое впечатление в тогдашних литературных кругах. Даже И.Садофьев, резко отрицательно оценивая ЗР, заметил, что у Вагинова «такой палец, что только ахнешь» (Садофьев Илья. Мертвая и живая литература // Литературная неделя, № 4. Приложение к «Петроградской правде». № 128. 1922. 11 июня.). Ср.: «Каждый палец мой — исчезнувший город...» и др. стихотворения с подобной образностью.

«ЧЕРНЕЕТ НОЧЬ В МОЕЙ РУКЕ ПОДЪЯТОЙ...» — ПН, с. 43; О, с. 10; СС, с. 60. В рукописи — вариант предпоследней строки: «Другой ходил с своею вечной дамой». *Вечная дама* — возможно, ироническая контаминация «Прекрасной дамы» с «Вечной женственностью». *Пропахло рожью солнце* — ср. конец стих. «О, удалимся на острова Вырождений...»: люди солнца «в колосьях ржи» противопоставляются людям луны, лунатикам и звездочетам, к которым причисляет себя Вагинов.

«ТЕМНЕЕТ МОРЕ И ПЛЫВЕТ КОРАБЛЬ...» — ПН, с. 44; СС, с. 61.

«ВЫШЕЛ НА КАРПОВКУ ЗВЕЗДЫ СЧИТАТЬ...» — ПН, с. 47; СС, с. 62. *Карповка* — речка в Петербурге. *Взял балалайку рукой безобразной... затянутым пленкою глазом* — ср. «Междусловие установившегося автора» в КП: «Я дописал свой роман, поднял остроконечную голову с глазами, полузакрытыми желтыми перепонками, посмотрел на свои уродливые от рождения руки: на правой руке три пальца, на левой — четыре». Это иронически-физиологичное воплощение характерной для Вагинова темы вырождения (в стих. «О, удалимся на острова Вырождений...» еще отчасти декларативной). *Киприда* — то же, что Афродита (греч. миф.) — богиня любви. *Сермяжные* — то есть военные годы: «сермяга» у Вагинова обычно значит «шинель», ср. ЗВ. Далее в рукописи следует стихотворение «В пернатых облаках все те же струны славы...», публикуемое ниже в составе цикла «Ночь на Литейном».

«ПРОХОЖИЙ ОБЕРНУЛСЯ И КАЧНУЛСЯ...» — ПН, с. 49; Родник, с. 72 (Т.Никольская), с вариантом последней строки первой строфы: «...слов и трав». Слово можно прочитать и как «слав», но наиболее вероятно прочтение «слив». В последней строке вместо «холодней» первоначально было «тяжелей».

«ТЫ ДОГОРЕЛО СОЛНЦЕ ЗОЛОТОЕ...» — ПН, с. 50; Театр, с. 173 (А.Герасимова). Первая строка — с авторской правкой: вместо «догорело» было — «закатилось».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗВЕЗДОЧЕТ — ПН, с. 51-53; О, с. 12-14. Рукописный вариант пятой строки первого стихотворения: «В моем плече болотный ветер дышит». Во втором стихотворении вместо «в груди моей» первоначально было «в моей груди», 9-я строка в О: «Но он сегодня вышел на дорогу», здесь — по ПН. *На небе пятый день Румяный Нищий ищет...* — «Румяный Нищий» — солнце; ср. противопоставление себя и себе подобных людям

солнца в стих. «О, удалимся на острова Вырождений...», «Чернеет ночь в моей руке подъятой...» и др. В период белых ночей солнце, как известно, несколько суток не сходит с небосклона. Миф о похищенной дочери солнца — универсальный солярный миф. *Монтекристо* — марка оружия. *Гала-Петер* — см. примеч. к стих. «Намылил сердце — пусть не больно будет...». *Эрмон* — горная цепь в Иудее; ср. «у Иудейских гор» в стих. «Усталость в теле бродит плоскостями...». В О, вероятно, ошибка, обессмысливающая текст: «...на Эвроне» (Эврон — греческое название иудейского города Хеброн). *Давиду*, легендарному иудейскому царю-воителю (10 в. до н. э.), приписывается составление псалмов, вошедших в библейскую книгу Псалтирь. *Звездочет ... выпил кровь мою* — здесь Звездочет сливается с кровожадным Аполлоном вагиновского мифа (ср. МГА).

«У КАЖДОГО ВО РТУ НОГА ЕГО СОСЕДА...» — ПН, с. 57; Родник, с. 73 (Т.Никольская). Описано, очевидно, возвращение с фронта. По указанию Н.А.Богомолова, В.Ф.Ходасевич цитирует это стихотворение, тогда не опубликованное, в своем очерке «Во Пскове».

«СТАЛИ УЛИЦЫ УЗКИМИ ПОСЛЕ ГРОХОТА СОЛНЦА...» — ПН, с. 58; СС, с. 66, с вариантом первой строки: «...после грохота солнц». *Лида* — ср. МГА, КП, воспоминания Н.Чуковского.

«ВСЕ ЖЕ Я ЛЮБЛЮ ХОЛОДНЫЕ ЖАЛКИЕ ЗВЕЗДЫ...» — ПН, с. 59; СС, с. 67.

«РЫЖЕВОЛОСОЕ СОЛНЦЕ, РУКИ К ТЕБЕ Я ПОДЪЕМЛЮ...» — ПН, С* 60; Родник, с. 72 (Т.Никольская). В журнальной публикации опечатка: «...про полянику и снег»; в рукописи сибирская ягода поляника (напомним, что мать Вагинова была родом из Сибири) транскрибируется как бы на античный манер: «полиника» (вероятно, неумышленно: ср. написание «поэзде» вм. «поезде» в стих. «У каждого во рту нога его соседа...»). *...волнуются желтые Нивы* — заглавная буква смещает традиционный для русской поэзии образ в сторону названия популярного дореволюционного журнала «Нива»: ср. ироническое описание отцовской библиотеки в КП: «В шкафах помещались великолепные книги: приложения к «Ниве», страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко...».

ЮНОША — ИН, с. 61 (без названия); С 1926, с. 8 (без названия); ОСС, с. 57; СС, с. 68. *В доме покойного детства* — возможно, восходит к новелле У.Патера «Ребенок в доме», в рус. пер. — «Дом детства» (в упоминавшейся книге «Воображаемые портреты»), где показано воспитание души в плодотворном конфликте между христианством (страдание) и античностью (красота) — идея явно близкая Вагинову, повлиявшая на его художественное сознание. *В Польшу налет — и перелет на Восток* — реальный путь поэта в составе Красной Армии, сермяжного войска. *Ем чечевичную кашу* — за чечевичную похлебку библейский Иаков продал право первородства своему брату Исаву (Быт. 25, 29-34); ср. мотив утраченного первородства в стих. «Одно неровное мгновенье...») и др. В рукописи вариант последней строки: «Стая белых людей лошадь грызет при Луне».

«СЫНАМ НЕВЫ НЕ СВЕРГНУТЬ ИГА ВЛАСТИ...» — ПН, с. 62; СС, с. 69. Первая строка в рукописи тщательно вымарана теми же более светлыми чернилами, которыми проведена основная часть правки, восстанавливается по СС; во второй строке так же вымарано слово «чернь» и заменено на «флаг» (все это, очевидно, по цензурным соображениям); четвертая строка в СС — по неизвестному нам экземпляру — «Для черных стран не верящих — восход» (ср. «негров» во второй части МГА). *Коль славен наш Господь в Сионе* — начало одного из наиболее популярных православных песнопений. Можно сравнить вагиновскую трактовку христианства, наиболее откровенную в этом стихотворении, со взглядами Ф.Ницше, изложенными, в частности, в его книге «Сущность христианства».

«НЕТ, НЕ ЛЮБЛЮ ЗАКАТ. ПОЙДЕМТЕ ДАЛЬШЕ ЛИДА...» — ПН, с. 63; СС, с. 70. В рукописи первая строка без знаков препинания. *Лида* — см. примеч. к стих. «Стали улицы узкими после грохота солнца...». *В казарме умирает человек* — «друг детства Сергей Крейтон, сын архитектора-англичанина» (примеч. Л.Черткова, СС, с. 210), ср. образ «Сергея К.» в КП. В рукописи в последней строке описка (?): «отделнул».

«ОТШЕЛЬНИКОМ ЖИВУ, ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ 105...» — ПН, с. 64; ЗПТ, 1923, № 60, с. 3 (без третьей строфы), с вариантом начала: «Живу отшельником...»); СС, . 71. ...*Грузии, Азербайджана крики* — ср. «безер» в «Поэме квадратов» и др. (в рукописи написание: «Айзербейджана»). *Екатерининский канал, 105* — достоверный адрес поэта. В шестой строке не вполне ясно написано: «разрушим» или «разрушили»; последнее слово восьмой строки в ЗПТ — «послушно». В рукописи текст носит следы правки, внесенной явно по цензурным соображениям: так, в восьмой строке «красным» заменено на «ярким», в одиннадцатой «смердишь» на «шумишь», в последней «Империи» на «Равниною»; в этой строке сохраняем заглавные буквы, в журнальной публикации замененные строчными. По полям отчерк другими чернилами, надпись: «колонкой».

«ТЫ ПОМНИШЬ КРУГЛЫЙ ДОМ И ШОРОХ ЭКИПАЖЕЙ?...» — ПН, с, 67; Родник, с. 73 (Т.Никольская). *Гефсиманских бед* — по Евангелию, в Гефсиманском саду к востоку от Иерусалима в ночь перед иудиным предательством происходило моление Христа о чаше («Отче? о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня? впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 22. 42).

«И ВСЕ ЖЕ Я ПРОСТОЙ КАК ДУБ СРЕДИ ПОМПЕИ...» — ПН, с. 68; Театр, с. 173 (А.Герасимова). *Помпея* — римский город, разрушенный вместе с Геркуланумом в 79 г. извержением вулкана Везувия. В пятой строке вместо «мерный» было зачеркнутое «кру[глый]» (ср. предыдущее стих.). *Гефсиманских дней* — см. примеч. к предыдущему стихотворению.

«УСТАЛОСТЬ В ТЕЛЕ БРОДИТ ПЛОСКОСТЯМИ...» — ПН, с. 69; Абраксас, [№ 1], с. 58; СС, с. 72. *Двухпалый Митя* — см. примеч. к стих. «Вышел на Карповку звезды считать...». *Нас не омоет Новый Иордан* — ср. выше тему неприятия «нового христианства». *Назарет* — городок в Галилее, где, по Евангелию, жили Мария и Иосиф до и после рождения Иисуса. *У Иудейских гор* — ср. «Эрмон» в «Петербургском звездочете» и примеч. Далее в рукописи ПН следует стихотворение «Мой бог гнилой, но юность сохранил...», публикуемое ниже в составе цикла «Ночь на Литейном».

«И ВСЕ Ж Я НЕ ЖИВОЙ ПОД КУЩЕЙ АПОЛЛОНА...» — ПН, с. 71; СС, с. 74. В рукописи в третьей строке зачеркнутый вариант: вместо «гул» было — «свист». Четвертая строка выглядит так: «Прикован я Лирической скале». Прикованность к скале — смутная аллюзия на античный образ прикованного Прометея.

«И ГОЛЫЙ Я СТОЮ СРЕДИ СНЕГОВ...» — ПН, с. 72; СС, с. 75. *Муза-старуха* — ср. образ старой Венеры в стих. «Отшельники» (общая тема старения, старости, увядания красоты и искусства).

«ДА, БЫКИ КРУТОЛОБЫЕ, ТОНКОРУННЫЕ КОЗЫ...» — ПН, с. 73; Родник, с. 73 (Т.Никольская), с ошибочным прочтением второго слова первой строки («были»), в рукописи лишенной знаков препинания. *Лиду мою* — см. примеч. к стих. «Стали улицы узкими после грохота солнца...». *Дельфы* — религиозный центр в Древней Греции; в Дельфийском оракуле предсказывали судьбу жрицы-прорицательницы (пифии). *Эритрея* — город в Беотии. *Вера* — возможно, имеет отношение к В.Лурье (см. примеч. к стих. «Упала ночь в твои ресницы...»). *Алкмена* (греч. миф). — мать Геракла; после смерти была перенесена в Элизиум, на острова блаженных, где стала женой Радаманфа, одного из судей над мертвыми в Аиде. От имени одного из сыновей Радаманфа — Эритра — по легенде, произошло название города Эритреи, или Эритры. *Зевс Небожитель ссорится с Герой...* —

очевидно, причина ссоры — очередная измена Зевса, на этот раз с Алкменой, зачавшей от него Геракла.

«СЛАВА ТЕБЕ, АПОЛЛОН, СЛАВА!..» — ПН, с. 74; Родник, с. 73 (Т.Никольская). *Тот распятый* — то есть Иисус Христос; ср. противопоставление Христа и Аполлона в других стихотворениях ПН .

«ПОД РОЖЬЮ СПИТ СПОКОЙНО ЛАМПА АЛАДИНА...» — СС, с. 77; Островитяне: [машинописный сб.], I, Пг., сентябрь 1921. *Соломонов храм* — храм Соломона в Иерусалиме, на месте которого в 12 в. был основан рыцарский орден тамплиеров, или храмовников. Отмечаем это в связи с темой тамплиеров в романах Вагинова.

«ПЛЫВУТ В ТАРЕЛКЕ ОТТОМАНСКИЕ ФЕЛЮГИ...» — СС, с. 78. Островитяне: [машинописный сб.], I.

«О, ЗАВЕРНИ В КОНФЕКТНУЮ БУМАЖКУ...» — О, С. 11; СС, с. 79. *Храм Соломона* — см. примеч. к стих. «Под рожью спит спокойно лампа Аладина...». Тема конфетной бумажки неожиданно отзовется в Б: коллекция конфетных бумажек как отражение всей истории страны; огромные политические, географические, культурные понятия, как бы «завернутые» в конфетную бумажку. По поводу этого стихотворения Вс. Рождественский в одной из статей советовал поэту «Перестать курить папиросы с опиумом» (см. Приложение).

«Я СНЯЛ САПОГ И ПРОМЕНЯЛ НА ЗВЕЗДЫ...» — Цех поэтов: [Альманах], Пг., 1922, кн. 3, с. 7; СС, с. 83.

«СИДИТ ОНА ТОРГУЯ НА ДОРОГЕ...» — У, с. 26; СС, с. 80.

«ПРОРЕЗАЛ ГРУДЬ ВЕНЕЦИАНСКОЙ НОЧИ КУСОК...» — ЛО, с. 111-112. Стихотворение вписано Вагиновым в альбом Юр.Юркуну (1895 — 1938). Мотив солнца и ржи в последней строфе — ср. «О, удалимся...» и др.

НОЧЬ НА ЛИТЕЙНОМ — Город, с. 5-6. Историю этого издания, которое должно было стать органом домашнего салона Наппельбаумов, см. в воспоминаниях Н.Чуковского (ук. изд., с. 106). Среди авторов, кроме Вагинова — Ф. и И.Наппельбаум, Л.Лунц, Н.Тихонов, П.Волков. Сборник издан по тем временам роскошно, иллюстрирован фотографиями работы М.С.Наппельбаума с живописи 17-18 вв. из залов Эрмитажа. Обложка работы худ. А.Самохвалова, его же заставки к вагиновской «Ночи на Литейном». На с. 108 помещена небольшая заметка «Вновь найденные произведения Дюрера, де-Гоха и Грюневальда», интересная для нас тем, что упомянутая в ней картина П. де Гоха, изображающая игроков в карты, упоминается Вагиновым в Б. Первый номер «Города» стал единственным и последним.

Отдельные стихотворения цикла вошли в другие сборники Вагинова: «Любовь страшна не смертью поцелуя...» — С 1926, с. 13,где датировано июнем 1922; «Мой бог гнилой, но юность сохранил...» — ПН, с. 70 (в первой строке переправлено «Бог» на «бог», в пятой зачеркнут вариант: «как Ориген брожу»); в несколько ироническом контексте включено в КП как стихотворение персонажа Тептелкина, где Мария — имя героини, в которую он влюблен; «В пернатых облаках все те же струны славы...» — ПН, с. 48 (где «Бог» — с большой буквы); С 1926, с. 7; ОСС, с. 56, где датировано июлем 1921; в СС цикл рассыпан.

Ориген (184-254) — раннехристианский писатель, уроженец Александрии (Египет). В СС вместо рифмы к нему «плен» стоит слово «плач» («Не для меня, Мария, женский плач», с. 73 — возможно, по неизвестному нам рукописному варианту); эти строки даже приводятся Л.Чертковым как иллюстрация отказа Вагинова от легкой рифмы (с. 229). *И с когтями...* — в СС «с костями» (опечатка?). ...*на лире уныло бренча* — ср. образ Иисуса, бренчащего «на эллинской лире» в стих. «Палец мой сияет звездой Вифлеема...»: по идее противостоящие, фигуры Иисуса и Аполлона оказываются едва ли не двумя ипостасями одного божества.

ПОЭМА КВАДРАТОВ — Абраксас, 1923, [№ 3], с. 14. также С 1926, с. 10-12, и ОСС, с. 58-59. В этом же номере «Абраксаса», альманаха эмоционалистов (см. Предисловие), помещена их декларация; хотя подписи Вагинова под ней и нет, некоторые ее положения довольно близки его художественной позиции, например: «Преодоление материала и форм есть условие успешного творчества, а не задача его и цель»; «эмоционализм признает только феноменальность и исключительность и отвергает общие типы, каноны, законы психологические, исторические и даже природные, считая единственно обязательным закон смерти»; «Божественный, интуитивный, безумный разум — путеводитель художественной мысли». *Тлетворный куб* — возможно, неприятие кубизма в широком смысле, как экстремального воплощения «цивилизации» (ср. МГА: «Пикассо есть христианство, братия мои»). Ср. противопоставление линейной жизни-искусства и тлетворной объемной «жизни»-куба. «Бахчисарайский фонтан» — поэма А.С.Пушкина (1823); значение этой строки, однако, остается для нас темным. *Киликийский Тавр* — горная цепь (с запада на восток) в юго-восточной Малой Азии, отделявшая от нее Киликию — дикую область, вытянутую по северному берегу Средиземного моря. *Тмол* — гора в Лидии. *Заря* — устанавливается здесь как один из основных сквозных символов вагиновской поэзии, знаменующий «новую жизнь», чуждую и часто враждебную, в противовес ночи, символу родного поэту, но сродного смерти искусства. *Аиша* (Айша) — по легенде, 14-летняя возлюбленная пророка Магомета. *Пряжка* — речка в Петербурге. *Хариты* (греч. миф.) — близкие Аполлону благодетельные богини, воплощение радостного, вечно юного жизненного начала.

«БЕГУ В НОЧИ НАД ФИНСКОЮ ДОРОГОЙ...» — Абраксас [№ 1], с. 50; СС, с. 81. *Я не люблю зарю. Предпочитаю свист и бурю...* — см. в «Поэме квадратов»; ср. «бури свист» в стих. «Спит в ресницах твоих золоченых...». «Свист и буря» становятся в ряд знаков ночи-искусства, ср. фамилию героя «Свистонов» в ТДС — своего рода фигуру остранения идеи искусства-смерти. *Вифлеем* — здесь обобщенное имя «нового христианства», ср. ЗВ. *«Жизни новой!»* — ср. устойчивый штамп «заря новой жизни»; ЗВ: «Утром толпился народ на углах, читал: "Новая Эра наступает"». *Орфей* — см. примеч. к стих. «Упала ночь в твои ресницы...». *Оптинская* (Оптина), или Введенская *пустынь* — мужской монастырь близ г. Козельска, осн. в 14 в. *Нектария* (таково имя нескольких деятелей Русской Православной Церкви) в Оптиной пустыни не было, однако там подвизался старец Амвросий, известный в народе как подвижник и целитель (в 1878 г. к нему ездил Ф.М.Достоевский). Возможно, подмена имени произошла у Вагинова сознательно или бессознательно благодаря близкому значению слов «нектар» и «амброзия». В МГА название пустыни и имя старца становятся иносказательными образами «нового христианства» и нового искусства: «Есть пустыня Оптинская, в ней старец Нектарий убежище для паровозов и радия уготовляет. Ночью Иисусу своему, из плоскостей и палок состоящему, кадит и молится. Аполлона, Господа нашего, разлагает».

ИСКУССТВО — Абраксас, [№ 2]; ЛО, с. 112 (Т.Никольская). Стихотворение интересно смещением и переоценкой образного ряда противопоставлений «заря» — «ночь». *Но, человек, твое дороже тело...* — ср. тему «нечеловеческой» природы поэта в стих. «Упала ночь в твои ресницы...» и др.

«Я ПРОМЕНЯЛ ВЕСЬ ДИВНЫЙ ГУЛ ПРИРОДЫ...» — АПО, с. 5. На последней странице этого издания надпись: «Альманахи «Петербургское Объединение Обновленного Искусства», объединяя всех представителей литературы, широко открывают им страницы свои». *Так звуки У и О...* — ср. известный сонет А.Рембо «Гласные», утрирующий мысль Ш.Бодлера о соответствиях между звуками и цветами.

«СРЕДИ НОЧНЫХ БЛИСТАТЕЛЬНЫХ БЛУЖДАНИЙ...» — Абраксас, 1922, [№ 1], с. 49 (без ремарок); ОСС, с. 60-61. *...отрекаемся, едва пропел петух* — ср. пение петуха в евангельском сюжете отречения ап.

Петра (Матф. 26, 69-75). Эта ассоциация и ее последующее снятие отмечены в статье Б.Бухштаба «Вагинов» (см. Приложение).

«ВЫ РИМСКОЮ ДЕРЖАВНОЙ КОЛЕСНИЦЕЙ...» — Альбом А.Радловой (1892-1949), РО ИРЛИ; СС, с. 88. *Хлыстовский дух... Царицы корабля.* — Хлысты (христововеры) — секта «духовных христиан», основанная в России в 17 в.; «кораблем» именуется хлыстовская община. «Непосредственно хлыстовству посвящена пьеса А.Радловой «Богородицын корабль», написанная в феврале 1922 года. <...> Хлыстовская тема звучит и в стихах Радловой, в особенности в ее третьем поэтическом сборнике — «Крылатый гость» (1922). В стихах эта тема не только сплавлена с античной, но и часто проецирована на современность. Вихрь хлыстовских радений поэтесса сопрягает с разрушением Рима и с постигшими Россию социальными катаклизмами», — пишет Т.Никольская (Тема мистического сектантства в русской поэзии 20-х годов XX века. — В сб.: Пути развития русской литературы. Литературоведение. Труды по русской и славянской филологии. (ТУ) — Тарту, 1990, с. 158-159). Ниже в статье приводится данное стихотворение Вагинова. *Геркуланум* — римский город в Италии, близ современного Неаполя, частично разрушенный в 79 г. извержением Везувия.

«ШУМИТ РОДОС, НЕ СПИТ АЛЕКСАНДРИЯ...» — Абраксас, 1922 [№ 2]; С 1926, с. 17. В ОСС — без последних четырех строк, с. 62. *Родос* — греческий остров в Эгейском море, у побережья Малой Азии. *Александрия* египетская — в 4-1 вв. до н. э. столица Египта, резиденция Птоломеев, центр эллинистической культуры. *Зеленый стол* — то есть стол для карточной игры, ср. стих. «Прорезал грудь...».

«ДО БЕЛЫХ БАРХАНОВ ТВОИХ...» — Литературные вечера. Вечер первый. — Пг., 1923, с. 3. Этот сборник, включивший в себя стихотворения 14 авторов, вышел «авторским изданием», что отмечено на титуле.

«Я ПОЛЮБИЛ ШИРОКИЕ КАМЕНЬЯ...» — ЖИ, 1923, 5 июня, № 22 (397). В том же номере газеты на с. 8 — довольно пренебрежительная рецензия на сб. «Город», за подписью «Обозреватель». *Смуглогруды люди* — ср. «смуглого Исуса» («Усталость в теле...») — в противовес «бледному Аполлону» («Петербургский звездочет»); здесь символ основывается на реальном качестве традиционного изображения (иконопись и мрамор). Ср. также вторую часть МГА.

«В СЕЛЕНЬЯХ ГОРОДСКИХ, ГДЕ ПРОТЕКАЛА ЮНОСТЬ...» — С 1926, с. 12; ОСС, с. 64. *О, море, нежный братец человечий* — ср. у А.Введенского: «о море море / большая родина моя / сказала ночь и запищала / как бедный детский человек» («Две птички, горе, лев и ночь», 1929). Даже море человечнее «нечеловеческого» лирического героя Вагинова.

«КРУТЫМ БЫКОМ ПЕРЕСЕКАЯ СТЕНЫ...» — С 1926, с. 20; ОСС, с. 65. *Виноградный стих* — ср. «стихов виноградное мясо» (О.Мандельштам).

«У ТРУБНЫХ ГОРЛ, ПОД СЕНЬЮ ГУЛКОЙ НОЧИ...» — С 1926, с. 21; ОСС, с. 66. Тема конфликта природы и искусства характерна для Вагинова, который, как и его герой, «парк раньше поля увидел, безрукую Венеру прежде загорелой крестьянки» (КП).

«НЕМНОГО МЕДА, ПЕРЦА И ВЕРВЕНЫ...» — СС, с. 85.

«МЫ ЗАПАДА ПОСЛЕДНИЕ ОСКОЛКИ...» — СС, с. 90. Римский поэт Публий *Овидий* Назон (43 до н.э. — 17 н. э.) в конце 8 г. н. э. был сослан императором Августом на север, в г. Томы (порт Констанца в Румынии), где и умер. *Обводной канал* — канал в Петербурге.

ФИНСКИЙ БЕРЕГ — ЗПТ, 1923, № 57. В СС цикл рассыпан. Первые два стихотворения вошли в ПН (с. 38, 40). «И пестрой жизнь моя была...» — С 1926, с. 23, где датировано февралем 1923. «Но пестрою...» — в СС : «Не пестрою, но радостной...» (с. 92). *Иордан* — см. примеч. к ПХ. *Ангел* — очевидно, скульптура ангела на Александрийском столпе на Дворцовой площади недалеко от Дворцового моста через Неву. *Летний сад* — знаменитый сад в Петербурге с псевдоантичными статуями. *Среди Ливийских гор*

— ср. «Петербургский звездочет». *Садовая* — улица в центре города. *Средь Павловских берез* — Павловск, пригород Петербурга, известен своим дворцом и парком. *Александрийский звон* — ср. «Шумит Родос...».

«МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ПЫШНОСТИ, ДЛЯ СЛАВЫ...» — СС, с. 91. В примечаниях указан вариант: «о жизни прежней». Первая строка — возможно, реминисценция блоковской: «О доблести, о подвигах, о славе...».

«НЕ ЧЕЛОВЕК: ВСЕ ОТОШЛО, И ЯСНО...» — С 1926, с. 24; ОСС, с. 68. Ср. выше о теме «нечеловеческого» у Вагинова.

«Я ВОПЛОТИЛ УНЫВНЫЙ ГОЛОС НОЧИ...» — С 1926, с. 25; ОСС, с. 69. Встреча с самим собой в толпе друзей-свеч — ср. «В стремящейся стране, в определенный час...». *Мария* — ср. «Ночь на Литейном»; *Александрия* — см. «Шумит Родос, не спит Александрия...».

«ПОД ГРОМ ВОЙНЫ ТОТ ГРОБНЫЙ ТАТЬ...» — С 1926, с. 28; ОСС, с. 13, без последних пяти строк.

Это и следующее стихотворения очевидно, являются попытками поэта усложнить и разнообразить свою технику — еще в 1922 г. он признавался в одном из писем за границу: «Весной мне стало ясно, что я не должен писать дальше, как я писал. Я дошел до грани и дальше уже была бы подделка под самого себя» (СС, с. 217). Развитие, однако, пошло по другому пути, — скорее разрежения, нежели сгущения слов.

«ВБЛИЗИ ОТ ВОЙН, В СВОИХ СКВОЗНЫХ ХОРОМАХ...» — С 1926, с. 31; ОСС, с. 14.

«ОДИН СРЕДЬ МГЛЫ, СРЕДИ ДОМОВ ВЕТВИСТЫХ...» — С 1926, с. 27; ОСС, с. 71. В СС указан вариант: «гения и сна» (по рукописи). *Селена* (греч. миф.) — богиня луны.

II. СТИХИ 1924-1926 гг.

В этот раздел включены стихи, написанные Вагиновым за три года, заканчивая годом выхода его второй книги стихов, историю издания которой можно узнать из письма и воспоминаний И.М.Наппельбаум (в Приложении). Эти стихи, за несколькими исключениями, вошли в эту вторую книгу, а также в ОСС. Кроме того, в раздел включена поэма, условно называемая «1925 год». Датировка стихотворений — по ОСС.

«И ЛИРНИК СПИТ В ПРОСНУВШЕМСЯ ПРИМОРЬЕ...» — С 1926, с. 32; ОСС, с. 15.

«КАК ХОРОШО ПОД КИПАРИСАМИ ЛЮБОВИ...» — С 1926, с. 33; ОСС, с. 16. *На мнимом острове* — ср. цикл «Острова», название группы «Островитяне» и т. д.

ПСИХЕЯ («СПИТ БРАЧНЫЙ ПИР...») — С 1926, с. 33; ОСС, с. 17. *Психея* (греч. миф.) — олицетворение души, дыхания, изображавшееся в виде бабочки; в вагиновском «туманном эпосе» — возлюбленная Филострата. *Филострат* — после Аполлона и Орфея третья основная фигура этого эпоса, иногда прямо соотносимая с образом автора: «Я последний Зевкид-Филострат» (ЗВ), и лишь отдаленно — с исторической фигурой Флавия Филострата, греческого философа 3 в. н. э. По заказу Юлии Домны, матери римского императора Каракаллы, исторический Филострат составил жизнеописание Аполлония Тианского, философа и чудотворца 1 в. н. э., чье учение традиционно противопоставлялось учению Христа. (Ср. образ Филострата в КП.) Отметим также, что это же имя — Филострат — носит одно из действующих лиц «Сна в летнюю ночь» У.Шекспира — распорядитель увеселений при дворе Тезея, «герцога афинского».

ГРИГОРИЮ ШМЕРЕЛЬСОНУ — СС, с. 94. Г.Шмерельсон — ленинградский поэт-имажинист.

«О, СДЕЛАЙ СТАТУЕЙ ЗВЕНЯЩЕЙ...» — С 1926, с. 34; ОСС, с. 18 — во второй строке снято слово «Господь» (очевидно, по цензурным соображениям), восстановленное в СС по рукописи.

«ИЗ ЖЕНОВИДНЫХ СЛОВ ЗМЕЕЙ СТРУЯТСЯ СТРОКИ...» — Поэты наших дней: [сборник стихов]. М., 1925, с. 18, где в 9-й строке вместо «кружусь» — «кручусь» (возможно, опечатка); С 1926, с. 35; ОСС, с. 19. Ср. КП: «Поэзия — это особое занятие», — говорит «неизвестный поэт». — «Страшное зрелище и опасное, возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью. <...> И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами».

«ПОД ЛИХОЛЕТЬЕМ ОДИЧАЛЫМ...» — С 1926, с. 36.

«В ОДЕЖДЕ ИЗ СТАРИННЫХ СЛОВ» — С 1926, с. 37; ОСС, с. 20. ...*из старинных слов* — ср.: «В груди моей старинный ветер рдеет» («Петербургский звездочет»), «в старинные чугунные слова» («Крутым быком...») и т. п.: осознание себя и своего творчества не в контексте современности, но в глубине давно ушедших культур прошлого. Возможно влияние образа «старинных слов» на И.Бахтерева, назвавшего свою поэму «Старинные Санкт-петербургские слова».

«ПОЭЗИЯ ЕСТЬ ДАР В ТЕМНИЦЕ НОЧИ СТРУННОЙ...» — ОСС, с. 21. *Из башни* — ср. восходящий к Вяч. Иванову мотив башни в КП. *Со скрипкой многотрудной* — ср. стих. Н.Гумилева «Волшебная скрипка» (1908). *Так в юности стремился я к безумью* — ср. в КП: «Он ищет опьянения, не как наслаждения, а как средства познания, как средства ввергнуть себя в <...> священное безумие».

«ЧАС ОТ ЧАСУ РЕДЕЕТ МРАК МЕДВЯНЫЙ...» — СС, с. 95. *Охваченный твоим самосожженьем* — образ, очевидно, имеет отношение к идее культуры-феникса (ср. в воспоминаниях Н.Чуковского).

ОТШЕЛЬНИКИ — Ковш, 1925, кн. 1, под загл. «Поэма»; С 1926, с. 39; ОСС, с. 22-24, где слова *в трех лицах божества* сняты (строка восстановлена в СС по рукописи, хотя, по-видимому, речь идет не о христианской Троице (быть может, о триликой Гекате?). *Тристаны* — то есть влюбленные, от имени героя известного сказания о Тристане и Изольде, имеющего множество литературных версий. «Первая строка — вариант известного начала 1-й сцены 5 акта «Сна в летнюю ночь» Шекспира, обычно переводившегося как «лунатики, влюбленные, поэты» (Л.Чертков, СС, с. 211; ср. выше примеч. к стих. «Психея» («Спит брачный пир...») относительно Филострата). *Пальмира* — в древности цветущий город в Сирии, в 273 г. опустошен войсками императора Аврелиана; «северная Пальмира» — традиционное наименование Петербурга. *Эрот* (греч. миф.) — бог любви, сын Афродиты (рим. — Венеры), рожденной из морской пены, то есть из волн. Афродита с седыми космами сопоставима со старой Венерой у А.Введенского («Кругом возможно Бог»); ср. в КП описание статуэтки, изображающей «старую, косматую, похожую на ведьму, Венеру; <...> груди у нее морщинистые, отвислые». *Геката* — см. выше; изображалась триликой. В СС вместо *Зеленых крон* — «Корон златых все тише шелестенье». Там же приведены авторские примечания, сопровождавшие стихотворение в одном из писем:

1. (К словам *Корон златых*): «парафраза вместо «вершины (кроны) деревьев, освещенные солнцем»».
2. (К словам *без лавра и плюща*): «Это поет первая ипостась его — поэт».
3. (К словам *На барельефе у земли*): «На барельефе изображен Эрот, ставший сатиром. Не так ли вырождается любовь?»
4. (К словам *Невидимой, но ощутимой речь*): «Слышится речь невидимой Венеры, она вспоминает, как вторично рождалась на берегах Италии (Боттичелли и пр.)».

В том же письме имеется постскриптум: «Вот и все повествование о трех ипостасях, о состарившейся Венере и о превратившемся в сатира, но сохранившем крылышки Эроте. И не такая же ли пустыня вокруг нас и не тот же ли столб возвышается в ней» (СС, с. 143, 211).

«ОДНО НЕРОВНОЕ МГНОВЕНЬЕ...» — С 1926, с. 46, с вариантом 7-й строки: «Венчаюсь с скорбью...»; ОСС, с. 25. *Я первородством пренебрег* — см. примеч. к стих. «Юноша».

«ПОД ЧУДОТВОРНЫМ, НЕЖНЫМ ЗВОНОМ...» — С 1926, с. 46-47, под названием «Анахарзис»; ОСС, с. 26. *Анахарзис* — легендарный скифский царевич (нач. 6 в. до н. э.), учившийся мудрости в Афинах у Солона и ставший классическим образом «дикаря-мудреца». Другой Анахарзис, молодой скиф 4 в. до н. э. — герой научно-популярного сочинения по древнегреческой истории и культуре Ж.Ж.Бартелеми «Путешествие юного Анахарзиса по Греции» (1788, рус. пер. 1803-1819), от лица которого ведется повествование. *Так сумасшедший собирает Осколки, камешки, сучки...* — тема безумного собирательства, коллекционерства как второй, наряду с визионерством, ипостаси искусства, характерна для Вагинова, который сам, по воспоминаниям, коллекционировал монеты, ресторанные меню, спичечные коробки и пр., а также «все характерное, смешное и странное», что замечал в людях; ср. его персонажей-коллекционеров в романах. *Дожи* — правители Венецианской республики в эпоху Возрождения. *...с подругой многогульной* — ср. воспоминания Н.Чуковского. *Нереиды* (греч. миф.) — морские божества, дочери морского бога Нерея.

«НЕ ТЩИСЬ, ХУДОЖНИК, К СОВЕРШЕНСТВУ...» — Ленинград, 1924, № 23, с. 13; С 1926, с. 48; ОСС, с. 27. В журнальном варианте 9-я строка: «И лишь когда резец...». В публикуемом варианте возможна опечатка («прилетят» вместо «пролетят»).

«О, СКОЛЬКО ЛЕТ Я ПРЕВРАЩАЛСЯ В ЭХО...» — С 1926, с. 49; ОСС, с. 28; перепеч. в сб. Ленинградские поэты, Л., 1934. *И на балкон взошел...* — ср. начало ТДС: Свистонов смотрел в окно, и ему «хотелось молодости». *Символистом* называл Вагинова Гумилев; ср. также отрывок из статьи И.Груздева 1923 г. (в Приложении).

«ДА, ЦЕЛЫЙ ГОД Я ВЗВЕШИВАЛ...» — С 1926, с. 51; ОСС, с. 29-30. *Ворон* — один из атрибутов или символов *Аполлона*; Аполлон может являться в образе ворона. *Он мысль мою доводит до конца* — в С 1926: «Он мысль свою...» *Встают с зарей и с верой в первородство* — очевидно, что лирический герой «пренебрег» первородством в пользу людей «зари» (см. выше).

«ПРЕД РАЗНОЦВЕТНОЮ ТОЛПОЮ...» — СС, с. 96.

«ОН ДУМАЛ: ВОТ СЛЕДЫ ИСКУССТВА...» — ЦГАЛИ, ф. 1346, оп. 2, ед. хр. 16; карандашный черновик, датированный 1925 г. Строки, взятые в квадратные скобки, не зачеркнуты, но, очевидно, являются дублирующими друг друга вариантами. В СС (с. 97) вместо них восстановлена зачеркнутая строка с противоположным значением: «О мире радости ему повествовали», есть и неточности в расшифровке почерка.

[1925 ГОД] — СС, с. 107-118; De Visu, 1993, № 6, с. 15-24 (Т.Никольская, Вл.Эрль; без названия). Впервые с текстом поэмы нам довелось ознакомиться по машинописному экземпляру, любезно предоставленному М.Н.Чуковской. Сравнивая этот экземпляр (далее МЧ) с вариантом, опубликованным Л.Чертковым (СС), следует предположить, что источниками их являются две разные машинописи; разночтения убеждают в том, что в De Visu опубликован третий вариант (источником которого названа «правленная машинопись из собрания Н.С.Тихонова и М.К.Неслуховской» (далее DV); увы, в публикации ничего не сказано о характере этой правки). Поскольку автографа, как кажется, уже не существует в природе, во всяком случае он недоступен, в каждом случае вопрос разночтений приходилось решать в пользу одного из вариантов. Сохраняя в основном пунктуацию варианта из архива М.Н.Чуковской, указываем на наиболее значимые

разночтения; эта часть примечаний будет первой, а затем — фактический комментарий.

Бродяг физических — во всех трех вариантах так, хотя у нас вызывает некоторые сомнения; возможно, «физически я чуял»? *Качаема волной* — DV: «войной» (можно предположить здесь игру автора с «мнимыми опечатками», которые он, видимо, любил использовать как источник нового смысла; ср. «плен» — «плач» в «Ночи на Литейном», есть и другие примеры). *И розовостью плеч* — в DV «крыл». *Бал-маскарад...* — в МЧ и СС не является отдельной ремаркой. *...ступаете меж небом и землей* — в МЧ: «отступаете между землей и небом» (ср.: «с привычкою все отступать назад» — «В одежде из старинных слов...»). *Идемте в сад...* — в DV перед этой строкой повторяется ремарка «Дама». *И одеяло дыр полно...* — пунктуация этого фрагмента, указывающая на то, что эти строки читаются персонажем по книге, во всех вариантах разная. *Пусть говорят, что старый мир...* — в DV — «...звонкий хор»: напоминает идеологическую правку «внутреннего редактора», ср. соотв. места в ПН и др. *И мифологией случайно...* — в СС и МЧ — «случайной». *Садитесь, Сильвия...* — во всех трех вариантах разбивка этой строки различна. *И голубями в светлом мире...* — МЧ: «голубыми». *И как бы порожденье злобной силы* — МЧ: «подражанье». *Но все мифологема* — МЧ: «Вот вся мифологема». *Искусств бесцельных* — МЧ: «бесценных». *Под вычурами мыслью жалит* — МЧ: «Под вычурами мысли...». *Змеиным ядом* — МЧ: «змеиным жалом». *Одни идут гордо и [...]* — пропуск во всех трех вариантах. *Актеры снимают маски. Видны бледные лица* — эта ремарка в СС и МЧ отсутствует (отметим, что это единственный пропуск в СС по сравнению с DV, где текст СС аттестован как текст «с пропусками»).

Вакх (греч. миф.) — одно из имен Диониса, бога плодородия и виноделия. Первый монолог Филострата, соединенный со стих. «Мрак побелел, бледнели лица...», см. в ОСС, с. 47 (без названия). *«Бесы»* — роман Ф.М.Достоевского; отметим, что один из прототипов Тептелкина, Л.В.Пумпянский, в 1922 г. сделал и опубликовал доклад «Достоевский и античность». *Бред его о фениксе* — ср. воспоминания Н.Чуковского и стих. «Час от часу редеет мрак медвяный...». *Люцифер* — одно из имен сатаны — имеет также значение «утренняя звезда», то есть Венера. *Психея* — см. примеч. к одноименному стихотворению. *Приапические толпы* — от имени Приапа (ант. миф.), божества плодородия и размножения. *Наступает вечер, рынок замолкает...* — ср. изображение рынка в романах Вагинова. *«Ночи» Юнга* — поэма в 9 книгах «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (1742-1745, в рус. пер. — «Плач, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии», СПб., 1812; «Юнговы ночи», М., 1806) английского поэта Эдварда Юнга, точнее Янга (1683-1765). *Зажжете вечером свечу или иное...* — О нелюбви Вагинова к электричеству см. у Н.Чуковского. *Помпеи* — город, уничтоженный тем же извержением Везувия, что и Геркуланум, в 79 г. н. э. *Пальмира* — см. примеч. к стих. «Отшельники». *Вавилон* — древний город в Месопотамии, в 19-6 вв. до н. э. столица Вавилонии. *«Аттические ночи»* — сочинение римского писателя 2 в. н. э. Авла Геллия, собрание выписок из древних авторов с сопоставлениями, размышлениями и комментариями. (См. недавнее изд.: Авл Геллий. Аттические ночи. Пер. с латинского Б.Тритенко. Томск, 1993.) *Клавдиан,* Клавдий (ок. 360 — после 404) — римский поэт, уроженец Александрии; чуждый официальной христианской религии, вдохновлялся римской древностью. *Алкамен* — греческий скульптор 5 в. до н. э., которому традиция приписывает фигуры западного фронтона храма Зевса в Олимпии. *Антаблемент* — в архитектуре верхняя часть здания, опирающаяся на капители колонн или стены. *Верба* — базар в Вербное воскресенье. *Стонали, точно жены, струны...* — две первых строки этого фрагмента, вначале, очевидно, отдельного стихотворения, фигурируют в КП как начало стихотворения «неизвестного поэта»: ср. там же сцену «трибунала». *Есть в*

статуях... — также две строки — в КП как стихи «неизвестного поэта». *Пятая песнь* «Ада» *Данте* Алигьери содержит знаменитую историю любви Паоло и Франчески; это же место взволнованно комментирует Тептелкин в КП, читая лекцию студентам. *Геллеспонт* — древнее название пролива Дарданеллы; *Ахеронт* (греч. миф.) — река в Аиде, через которую Харон перевозит души умерших. *К своим возлюбленным летим* — см. примеч. к стих. «Эвридика». *Начальник цеха* — по мнению Л.Черткова, «переродившийся» Тептелкин. *Юпитер, Меркурий, Венера* — боги римского пантеона и статуи Летнего сада (или какого-либо парка при дворце в окрестностях города). *Гордо и [...]* — пропуск во всех трех вариантах (предположительно в оригинале — неразборчивое слово, а может быть, латинский или греческий текст).

ВОРОН — [КБ], с. 1, без названия (рукописный сборник Вагинова, на обложке которого значится: «Константин Константинович Вагинов», внизу: «Кликалище благоутешное». Петербург. 1926. Май», хранящийся в собрании М.С.Лесмана, был любезно предоставлен нам для ознакомления Н.Г.Князевой; очевидно, что «Кликалище благоутешное» (эти слова вписаны на обложку другими чернилами) является не названием сборника, как предположила Т.Никольская (см. Родник), а маркой домашнего издательства, чьего именно — не установлено); Ковш, 1926, кн. 4, с. 135 (первая строка: «Как ворон прекрасен»); ОСС, с. 31. 5-я строка: «И, важно ступая, спускаюсь со скал», здесь восстановлена по рукописи. *Ворон* — см. примеч. к стих. «Да, целый год я взвешивал...». В виде *бабочки*, как уже говорилось, изображалась Психея — душа.

«НА КРЫШКЕ ГРОБА ПРОКНА...» — [КБ], с. 2, под названием «Музы»; ОСС, с. 32. Ср. греческий миф о Прокне и Филомеле, одну из которых Зевс превратил в ласточку, другую — в соловья.

«И СНОВА МНЕ МЕРЕЩИЛАСЬ ЛЮБОВЬ...» — Ковш, кн. 4, с. 135; Собрание стихотворений Л/ОВСП, л., 1926, с. 13; ОСС, с. 33. *...стоял на берегу... своим же образом чаруем* — ср. миф о Нарциссе, а также стих. «Нарцисс» и вообще тему двойника и отражения в стихах и прозе Вагинова.

«НАД МИРОМ РЫСЦОЙ ТОРОПЛИВОЙ...» — [КБ], с. 12-13 (первая строка: «Над жизнью рысцой торопливой», «миром» вписано карандашом над строкой; 3-я строка «Как будто обтечь обязан»); Собрание стихотворений Л/ОВСП, с. 13; ОСС, с. 34.

«В СТРЕМЯЩЕЙСЯ СТРАНЕ, В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ЧАС...» — [КБ], с. 9; Костер, с. 35. Оформление темы двойника, связанное с осмыслением себя как писателя (ср. КП). См. также стих. «Я воплотил унывный голос ночи...».

ЭВРИДИКА — [КБ], с. 3-4 (с написанием в последнем четверостишии «Евредикой» — отлично от заглавия); ОСС, с. 36, с вариантом 1-й строки: «И волосы сияньем извивались» (здесь предпочтен рукописный вариант). Ср. миф об Орфее и Эвридике и его трансформацию в КП, где «неизвестный поэт» размышляет: «...поэт должен быть, во что бы то ни стало, Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой — искусством, и <...> как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает».

ПСИХЕЯ («ЛЮБОВЬ — ЭТО ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ...») — Звезда, 1927, № 4, с. 113 (без названия); ОСС, с. 37. *...замок Литовский* — Литовский замок находился на углу ул. Офицерской (позднее ул. Декабристов) и наб. Крюкова канала, рядом с Театральной площадью; поначалу (в конце 18 — нач. 19 вв.) в нем размещался литовский мушкетерский полк, затем городская тюрьма. В Февральскую революцию тюрьма сгорела, и остов замка долго стоял неубранным. Сейчас на этом месте жилые дома. *Где тоже канал проплывает...* — Близ Театральной площади Екатерининский канал образует крутой изгиб, хорошо заметный на плане города; на пике изгиба, на его внешней стороне, находится дом № 105, в котором жил Вагинов; между внутренними сторонами протянуты подобно струнам переулки —

Малый и Средний Подьяческие. Возникает оригинальный градостроительный эффект, когда в обеих перспективах прямого переулка можно наблюдать ограду (ныне чугунную) одного и того же канала.

«ТЕБЕ ПРИМЕРЕЩИЛСЯ ГОРОД...» — [КБ], с. 14-15 (слово «плат» в третьей строке подчеркнуто); Звезда: [Альманах], Л., 1930; ОСС, с. 38. Обе публикации — без последних восьми строк, восстановленных здесь по рукописи.

«Я ВОСПОЛНЕНЬЯ НЕ ИСКАЛ...» — ОСС, с. 39. *Я от себя свой образ отделил* — ср. у Н.Заболоцкого: «Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел Я отделил от собственного тела!» («Метаморфозы», 1937). *Идололатрия* (греч.) — почитание кумиров; здесь, возможно, — песнь Орфея, который воспользовался своим чудесным даром, чтобы зачаровать стражей подземного царства мертвых, когда спустился туда за Эвридикой и переправлялся через Ахеронт (см. примеч. к стих. «Эвридика» и поэме [«1925 год»].

НОЧЬ — 31 рука: [кол. сб.], Л.-М., 1927, с.3; ОСС, с. 40, без строк: «Спокойны мы, за огненной заставой...» и следующих семи (впервые восстановлены в СС, с. 161, по рукописи). *Один... другой... а третий...* — ср. беседу автора с героями в КП (глава «Появление фигуры»); стихотворение представляется своего рода этюдом к прозе, как и многие стихи этого периода. *Феникс, Психея* — см. выше.

«НА ЛЕСТНИЦЕ Я КАК ШАМАН...» — [КБ], с. 13-14; Родник, с. 73 (Т.Никольская).

«АНГЕЛ НОЧНОЙ СТУЧИТ, НЕСЕТСЯ...» — [КБ], с. 16-17; Родник, с. 73 (Т.Никольская). В рукописи конец слова «крестики» в 15-й строке подчеркнут волнистой линией; перед последним четверостишием вычеркнуты две строки: «Чтоб вопль, гармония детей, Не достигал ее ушей».

«ЗВУК О ПО УЛИЦАМ НЕСЕТСЯ...» — [КБ], с. 18 (две последние строки написаны справа на полях за недостатком места); Родник, с. 73 (Т.Никольская). *Звук О по улицам несется...* — ср. в КП (глава «Детство и юность неизвестного поэта»): «...достал белое, искрящееся из кармана, отвернулся к стене, особое звучание, похожее на протяжное «о», переходящее в «а», казалось ему, понеслось по улицам» (описано нюхание кокаина). *Почто воскреснул ты* — ср. там же, глава «Под тополями»: «— Ах, это вы, — обратился он [неизвестный поэт] к прохожему, принимая его за Сергея К. — Как это любезно с вашей стороны, что вы воскресли» (см. примеч. к стих. «Нет, не люблю закат. Пойдемте дальше Лида...»). *Пусть дьяволами нас считает...* — ср. там же, глава «Остров»: «— Филострат должен нас изобразить светлыми, а не какими-то чертями. — <...> Победители всегда чернят побежденных и превращают, будь то боги, будь то люди, — в чертей. Так было во все времена, так будет и с нами. Превратят нас в чертей, превратят, как пить дать». Ср. ту же тему «чертей» в поэме [«1925 год»], а также в воспоминаниях Н.Чуковского. *К скале прикованный над нами* — см. примеч. к стихотворению «И все ж я не живой под кущей Аполлона..»

МУЗЫКА — [КБ], с. 4-5; Собрание стихотворений Л/ОВСП, с. 12: Звезда, 1927, № 4, с. 113 (без названия, с разбивкой на строфы и мелкими разночтениями по сравнению с ОСС, с. 41). Это стихотворение цитирует пианистка М.В.Юдина в письме к М.Ф.Гнесину от 8.5.1926. «Сейчас, — пишет она, — надо научить слушателя активному восприятию — надо, чтобы у него работала фантазия, чтобы расшифровывала «изменение образов» <...> есть один поэт, Вагинов (молодой, но необычный), у него где-то сказано: <...> «И предо мною слово — точно коридор». <...> Вот вызвать слушателя следовать за собою «по коридору» понятий, образов, целых пластов культуры и мира — вот об этом я мечтаю» (в кн.: Мария Вениаминовна Юдина. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1978. С. 335). Ни О, ни А, ни звук иной... — ср. стих. «Я променял весь дивный гул природы...»

«ЗА НОЧЬЮ НОЧЬ ПУСТЬ ОПАДАЕТ...» — Звезда, 1928, № 7, с. 38; ОСС, с. 42, с вариантом 13-й строки: «И сердце, в флейту превращаясь»; выбираем более благозвучный журнальный вариант. *А за окном свеча*

двоится И зеркало висит, как птица... — предполагаем отзвук этих строк у А.Введенского: «На столике свеча дымится, в непостижимое стремится» («Четыре описания», 1930-е гг.); ср. тему свечи и зеркала у этого поэта, мало подверженного литературным влияниям, но наверняка знакомого с творчеством Вагинова.

«ДВА ПЕСТРЫХ ОДЕЯЛА...» — ОСС, с. 43-44. Одна из немногих в стихах Вагинова картинок с натуры. *Лавр вышиной с мизинец И серый кустик мирта* — ср. КП: «На столе у меня стоит лавр с мизинец и кустик мирта» — травестация образов лавра и мирта с их торжественным античным смыслом, занесенных в грезящую античностью «Северную Пальмиру». *Пактол* — река в Лидии, берущая начало на горе Тмол, в древности золотоносная, по легенде, обогатившая Креза. *Сарды* — в древности столица Лидии у северного склона Тмола, на берегах Пактола. Позже город был резиденцией христианских епископов; окончательно разрушен Тамерланом. *Брег александрийский* — берег Средиземного моря, где стояла Александрия египетская. По указанию А.И.Вагиновой, стихотворение посвящено М.М. Бахтину (СС, с. 212).

ЭЛЛИНИСТЫ — Костер, с. 16-17; альм. Ларь (Стихотворения), Л., 1927, с. 15; ОСС, с. 45-46. «Эллинисты» изображены здесь с немалой долей самоиронии; ср. в КП: «— Петербург — центр гуманизма!» — восклицают герои. — «Он центр эллинизма...». В ОСС в последнем слове опечатка: «водой». В рукописном экземпляре, хранящемся в архиве В.Н.Яхонтова в ЦГАЛИ, водоЮ — подчеркнуто и выделено автором. В 1927 г. один из членов кружка эллинистов АБДЕМ — А.Миханков «прочел стихотворение Вагинова «Эллинисты» <...> и предложил абдемитам познакомиться с поэтом. Переводчики экспромтом пришли к Вагинову в гости. Тот стал регулярно посещать занятия АБДЕМа, проходившие по типу домашних семинаров. В присутствии поэта было прочитано четырнадцать трагедий Эсхила и Софокла. Вагинова привлекал дословный перевод греческого текста, который он старательно записывал. С А.Егуновым Вагинов начал заниматься греческим языком, пробовал переводить «Дафниса и Хлою» Лонга и «Любовные письма» Аристенеда» (Никольская Т. К.К.Вагинов, ЧТЧ, с. 76). Добавим, что упражнения в греческом языке и переводах с него можно найти в записной тетради Вагинова «Семячки», хранящейся у Т.Никольской.

«МРАК ПОБЕЛЕЛ, БЛЕДНЕЛИ ЛИЦА...» — [КБ], с. 11-12 (первоначально под названием, позже зачеркнутым, «Вознесенская Клеопатра»), с разночтением первой строки последнего четверостишия: «А на столе стоял, как перстень»; Звезда: [Альманах], Л., 1930; ОСС, с. 47, как вторая часть стихотворения «И дремлют львы, как изваянье...» (см. примеч. к поэме [«1925 год»]. Вознесенский проспект в Петербурге был центром проституции.

«ОТ БЕРЕГОВ НА БЕРЕГ..» — [КБ], с. 5, под названием «Орфей»; Ларь, с. 16; ОСС, с. 48. *И с птичьими ногами И с голосом благим* — сирена или Сирин — райская птица; ср. миф о сиренах, прельщавших Одиссея и его спутников. С этим мифом сплавлены здесь миф об Орфее и миф о гипербореях и их стране, где под покровительством Аполлона процветают мораль и искусства; эту страну греческие поэты и историки помещали на дальнем Севере.

«НЕ ЛАЗОРЕВЫЙ ДОЖДЬ...» — [КБ], с. 10 (с разночтениями: в 1-й строке — «лазуревый»; в 8-й — «С перепуганным отблеском рук»; строки 15-16: «Чтобы стала <по>меньше и уютнее жизнь»); Звезда, 1927, № 4, с. 112; Ларь, с. 17; ОСС, с. 49. *И не кажутся флотом...* — здесь можно усмотреть развенчание романтической темы корабля, заявленной еще в цикле «Острова».

«ДРОЖАЛ ПРОСПЕКТ, СТРЕЛЯЯ СВЕТОМ...» — [КБ], с. 7-8; Костер, с. 18-19; ОСС, с. 50. В этом стихотворении справедливо отмечают общность с поэтикой «Столбцов» Н.Заболоцкого, да и образы — извозчики, калеки, дети — характерны скорее для Заболоцкого, чем для Вагинова.

III. СТИХИ 1927-1934 гг.

Третий выделенный нами условный период — самый длинный, но не слишком богат стихами: в эти годы Вагинов работал в основном над прозой. В 1931 г. вышла третья книга его стихов «Опыты соединения слов посредством ритма» — материалы, связанные с ее появлением и вызванным ею резонансом, можно найти в Приложении — но подавляющее большинство вошедших в нее стихотворений написано до 1927 г. В последние годы жизни Вагиновым был составлен, но не издан сборник «Звукоподобия» (1929-1934). Раздел построен таким образом: вначале идут стихи, не вошедшие в этот сборник, в предположительно хронологическом порядке; затем — «Звукоподобия», печатающиеся по машинописи из архива М.Н.Чуковской, с некоторыми изменениями в последовательности стихотворений во имя хронологического расположения тех из них, которые имеют авторскую датировку, и с учетом текстов, помещенных в СС, где сборник носит название «Звукоподобие». Наиболее значительные разночтения оговариваются особо. Следует отметить, что большая часть «Звукоподобий» — 26 из 31 стих. — была впервые, правда, не без ошибок, опубликована Д.Мальмстедом и Г.Шмаковым в изд.: Аполлонъ-77 (Париж, 1977).

«Я СТАЛ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ФОРМОЙ...» — Первые 8 строк в качестве отдельного стихотворения: Звезда, 1927, № 4, с. 112-113. Полностью: Костер, с. 17. Стихотворение представляется одним из наиболее явных преддверий КП (Тептелкин, Феникс, двойник в гробу), романа, который сам автор называл «гробиком двадцати семи годам» своей жизни.

ПЕСНЯ СЛОВ — Звезда, 1927, № 8, с. 138-139 (без ремарок, с незначит. разночтениями); ОСС, с. 51. Фрагмент под № 2 впервые восстановлен в СС, с. 172 (по рукописи?). *В высокий сон прогружены* — ср. у А.Введенского: «он был высоким будто сон» («Кругом возможно Бог», 1931), где перемена синтаксической роли эпитета — сравнение вместо определения — остраняет его, подчеркивая алогизм. Возможна связь на уровне случайной ассоциации. *По земли* (архаичная падежная форма) — в ОСС опечатка: «по земле»; восстановлено по рукописному экземпляру в архиве В.Н.Яхонтова (ЦГАЛИ). *Здесь стук жуков, Как будто тиканье часов* — деталь имеет не только описательное, но и символическое значение; ср.: «И часовщик дрожит в стене, Он времени вернейший знак» ([«1925 год»]); «рассыпчатые жучки и мокренькие букашки грызли, точили, просверливали книги. Вперебой с часами тикали жучки» (ТДС). Ср. далее: *Здесь время снизу жрет слова.*

[СТИХИ ИЗ РОМАНА «КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ»] — Собирая вместе стихотворения Вагинова, вошедшие в текст КП, мы отдаем себе отчет в том, что они не составляют единого цикла и, очевидно, написаны в разное время; так, стихотворение «Мой бог гнилой, но юность сохранил...», приписанное Тептелкину (КП, с. 116), вошло в цикл 1922-1923 гг. «Ночь на Литейном», в составе которого печатается (см. выше); отдельные строки «неизвестного поэта» (глаза «Остров») — в поэму [«1925 год»], см. примеч. к этой поэме. Ниже дается отдельный комментарий к каждому из стихотворений.

«ГДЕ ВЫ ОЧЕНЬКИ, ГДЕ ВЫ СВЕТЛЫЕ...» — КП, с. 27. Учитывая интерес Вагинова к городскому фольклору, немало образцов которого собрано в упоминавшейся записной тетради «Семячки», можно усомниться в авторстве первой части этого стихотворения; Л.Чертков не включает его в СС. Перед этим стихотворением в романе строки: «...а вдали, в городе снежная вьюга поет»; на месте проставленного нами отточия: «— Кой черт, — вскричал неизвестный поэт, — не жена она мне была, не любовница и не знаю я, был ли у ней сифилис.

Злой поднялся с белоснежной постели и пошел в Эрмитаж статуи рассматривать. В нижнем помещении чувствует, как он сам склоняется над собой и поет»; после второй части стихотворения:

«Проснулся неизвестный поэт. Было 1-ое мая.

«Приятно, — подумал он, — четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями».

«ВЕСЬ МИР ПОШЕЛ ДРОЖАЩИМИ КРУГАМИ...» — КП, с. 48. Стихотворение приписано полубезумному поэту-футуристу Сентябрю, который читает его «неизвестному поэту». После стихотворения в романе следующие строки: «Удивительную интеллигентность, — думал неизвестный поэт, пока Сентябрь читал, — вызывает душевное расстройство». *Пряжка* — речка в Петербурге.

«ЛЕТИ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ...» — КП, с. 126-127. Стихи относятся к сцене неудавшегося сумасшествия «неизвестного поэта». Перед первым фрагментом — строки: «Неизвестный поэт вошел в дом, раскрыл окно:

— Хоп-хоп, — подпрыгнул он, — какая дивная ночь.

— Хоп-хоп! — далеко до ближайшей звезды». На месте проставленных нами отточий:

после *В воде растопись:* «— Чур меня, чур меня, нет меня, — он подскочил»;

после *над ушедшей толпой:* «— Голос, по-видимому, из-под пола, — склонился он. — Дым, дым, голубой дым. Это ты поешь? — склонился он над дымом»;

после *Соединиться нам пора:* «— Кто это говорит? — отскочил он». Филострат — см. примеч. к стих. «Психея» («Спит брачный пир...»). Пусть тело ходит, ест и пьет... — ср. стих. «На лестнице я как шаман...».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ НОЧЬ — СС, с. 100-101. Это стихотворение, как и два следующих, также относится к КП и взято Л.Чертковым из рукописи неосуществленного второго издания романа. *Психея* — см. выше. *Философ; Все черти мы...; Тептелкин* — ср. [«1925 год»] и воспоминания Н.Чуковского (в Приложении).

«ВОЙНА И ГОЛОД ТОЧНО СОН...» — СС, с. 102. В вышеупомянутой второй редакции КП — последнее, предсмертное стихотворение героя, «неизвестного поэта» — проекции самого автора. *Ему смешон наш гордый ход...* — иронический перепев известного пушкинского «Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье».

«НАМ В ЮНОСТИ ФЛОРЕНЦИЯ СИЯЛА...» — СС, с. 103. См. предыдущие примеч.

«СЛОВА ИЗ ПЕПЛА СЛЕПОК...» — ОСС, с. 54. Стихотворение содержит в свернутом виде один из сюжетов ТДС — катастрофу персонажа, ставшего героем свистоновского произведения. Опыт с нарочито упрощенной формой, произведенный, видимо, не без влияния обэриутов, представляется, однако, не совсем удачным.

«ТАЮТ ДОМА. ЛЮБОВЬ ИДЕТ, ХОХОЧЕТ...» — стихотворение из романа «Гарпагониана» (впервые — Ардис/Анн Арбор, 1983), приписанное герою — инженеру Торопуло. *Эпикурейской ночи* — эпикурейская философия наслаждения жизнью — жизненное кредо Торопуло.

В СС включено еще одно стихотворение из романа «Гарпагониана», однако, на наш взгляд, если это и стилизация, то слишком правдоподобная и, может быть, не принадлежит перу самого Вагинова. Приводим здесь этот романс, исполняемый престарелой матушкой героя — Локонова:

> В тиши ночи Я жду тебя, Тоскуя и любя, Ты ангел чистый предо мной, Люблю одну тебя. Огнями полон гулкий зал, Вокруг духи, цветы. Тебя в толпе я отыскал, Оркестр галоп играл. Но вот другому отдана Твоя рука, И злая ждет меня судьба Ночного игрока. В Монако жизнь окончу я, Где море так шумит, И не узнаешь никогда, Где юный труп зарыт.

В конце романа имеются также, вероятно, достоверные записи уличных романсов (см. примеч. к стих. «Где вы оченьки...»), которые здесь вряд ли следует воспроизводить.

УКРАШЕНИЕ БЕРЕГОВ — СС, с. 106. Очевидно, 1930-е. *Лахта, Токсово, Пулково* — пригороды Петербурга.

ЗВУКОПОДОБИЯ

«ОН РАЗЛЮБИЛ СЕБЯ, ОН ВЫШЕЛ В НЕПОГОДУ...» — Звезда: [Альманах], Л., 1930; Нева, 1982, № 6, с. 200. в публ. Л.Рахманова «Три стихотворения Константина Вагинова»; СС, с. 192.

«КАКОЮ ПРИХОТЬЮ ГЛУПЕЙШЕЙ...» — СС, с. 195. *Музыка, коридор* — ср. стих. «Музыка»; *Психея* — см. выше.

«ХОТЕЛ ОН, ПРЕВРАЩАЯСЬ В ВОЛНЫ...» — СС, с. 196. ...*сиреною блистать* — см. примеч. к стих. «От берегов на берег...».

«УЖ ДЕНЬ КРАСНЕЕТ ТОЧНО НОС...» — СС, с. 197. *Вызвать тень свою хотел* — ср. тему двойника в стих. «Я восполненья не искал...» и др. *Летейская* — то есть вода Леты (греч. миф.), реки забвения в царстве мертвых.

«ОН С КАЖДЫМ ГОДОМ УМЕНЬШАЛСЯ...» — СС, с. 198. *И горестно следил, как образ За словом оживал* — ср. слова «неизвестного поэта» в КП: «В юности, сопоставляя слова, я познал вселенную, и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка». Слово «горестно» позволяет нам осторожно предположить, что Вагинов догадывался о некоей связи поразившего его смертельного недуга с тем вниманием к теме смерти, которое никогда не ослабевало в его творчестве. Представление о первичности слова, способного превращаться в предмет, выразилось в обэриутском понятии «реальности искусства» (ср.: А.Введенский. Две птички, горе, лев и ночь, 1929, и др.; Н.Заболоцкий. Искусство, 1930; Д.Хармс. Письмо к К.Пугачевой от 16.10.33). Франческо *Петрарка* (1304-1374) — великий итальянский поэт. *«Фауст»* (1773-1808, 1825-1831) — трагедия И.В.Гете. *Иммортели* — здесь, очевидно, не столько цветы бессмертники, сколько Les immortels — «бессмертные», как именовались члены Французской академии. *И мемуаров рой* — ср.: «Прежде всего он занялся мемуарами. <...> Но ведь к мемуарам можно причислить и произведения некоторых великих писателей: Данте, Петрарки, Гоголя, Достоевского, — все ведь это в конечном счете мемуары, так сказать, мемуары духовного опыта» (ТДС). *Орфея погребали* — в автобиографическом контексте стихотворения, очевидно, знак краха личного вагиновского мифа о поэте-Орфее (ср. стих. «Эвридика» и примеч.). *На острове пикник* — ср. цикл «Острова», стих. «От берегов на берег...» и примеч.

«ПРЕКРАСЕН МИР НЕ В ПРОЗЕ ПОЛУДИКОЙ...» — Звезда: [Альманах], Л., 1930; СС, с. 193. ...*в прозе... вместо музыки раздался хохот дикий* — ср. в КП конфликт «неизвестного поэта» с «автором», которого первый упрекает в том, что он посмеялся над персонажами. Ср. также стих. «Ленинград»: «Бессмыслица ваш дикий хохот...», с учетом известной по мемуарам резко отрицательной реакции Л.В.Пумпянского, одного из прототипов Тептелкина, на этот роман Вагинова. *Но есть двойник другой, его враждебна сила* — ср. письмо А.Г.Островского от 20.XII.88 (в Приложении).

«ЧЕРНО БЕСКОНЕЧНОЕ УТРО...» — СС, с. 177. Ср.: «Люблю слова: предчувствую паденье, Забвенье смысла их средь торжищ городских» («Я променял весь дивный гул природы...»). «Нет, не расстался я с тобою...» — в СС отдельное стихотворение (с. 178).

«НА НАБЕРЕЖНОЙ РАССВЕТ...» — СС, с. 186.

«В ПОВЫШЕННОМ ГОРЕ...» — Звезда: [Альманах], Л., 1930, под загл. «Обыватели»; СС, с. 194.

«РУСАЛКА ПЕЛА, ДИЧЬ ЖДАЛА...» — СС, с. 187. *Теперь чертям ты первый друг* — ср. [«1925 год»], «Ленинград». *Зачем ты отнял жизнь мою...* — ср. стих. «Слова из пепла слепок»; в ТДС, о персонаже, ставшем прототипом для свистоновского романа: «...думал о том, что другой человек за него прожил жизнь его, прожил жалко и презренно <...>. Иван Иванович спустился в настоящий ад». В СС финальный фрагмент, со слов Когда уснули все опять и до конца, ошибочно напечатан как отдельное стихотворение; следует отметить, что в машинописи из архива М.Н.Чуковской этот фрагмент начинается с новой страницы, видимо, при составлении книги были перепутаны листы.

«ЗВУКОПОДОБИЕ ПРОСНУЛОСЬ...» — Звезда, 1933, № 1, с. 86, под загл. «Баллада» (возможно, редакционного происхождения). В машинописи 5-я строка: «Сегодня ты вставил глаза мне Психеи»: этот же неловкий вариант был, как видно по остаткам забеленного слова «Психеи» в конце строки, вначале включен в СС (с. 201) и лишь затем заменен журнальным. *Психея* — см. выше. Разбор этого стихотворения был сделан Инн.Оксеновым в статье «Борьба за лирику» (см. Приложение).

«КАК ЖАЛЬ, — ПОДУМАЛОСЬ ЕМУ...» — там же, с. 88, под загл. «Отрывок». ...*ночи голубые* — в журнале — «ночь голубая», так же и в СС (с. 199); мы, однако, склонны предполагать здесь опечатку. *И золото, вобрав меня...* — поэтическое преломление алхимических представлений о волшебных превращениях золота.

«ЗА ГОДОМ ГОД, КАК ЛИСТЬЯ ПОД НОГОЮ...» — там же, с. 85. *Как на театре хор* — имеется в виду античный театр.

НОЧНОЕ ПЬЯНСТВО — СС, с. 79. *Сперва madame за ним ходила...* — две строчки из «Евгения Онегина» А.С.Пушкина. *Психея и Амур* — ср. популярный аллегорический сюжет об Амуре и Психее, восходящий к новелле-сказке, включенной римским писателем Люцием Апулеем в его роман «Метаморфозы», одно из основных произведений эллинистической литературы. *Вакханки* (греч. миф.) — спутницы Диониса, или Вакха. *Безмолвной бабочкой порхать... И вдруг на лестнице стоять* — явно имеет отношение к «концепции опьянения» и ее краху — см. Предисловие; ср. стих. «Кафе в переулке». *И стало страшно, что не хватит Вина средь ночи* — ср. в воспоминаниях Н.Чуковского.

Следующие несколько стихотворений в исходной машинописи напечатаны в подбор, что, очевидно, все же не дает оснований считать их следующими частями поэмы «Ночное пьянство».

ГОЛОС — СС, С. 189. *Вбегает негр* — ср. мотив революции как восхода «для черных стран не верящих» в стих. «Сынам Невы...» и др. Возможна и реальная подоплека: в воспоминаниях Н.Чуковского (Поэт с острова Ямайка. — Указ. изд., с. 202-210) рассказывается о негре по фамилии Мак-Кей, который в начале 20-х гг. приехал в составе американской делегации на конгресс Коминтерна и на несколько месяцев задержался в Петрограде. Сам Н.Чуковский был его провожатым и переводчиком, так что Вагинов вполне мог с ним общаться. *Гарлем* — негритянский район Нью-Йорка.

«ПСИХЕЯ ДИВНАЯ...» — СС, с. 182, с вариантами: «испепеленной», «влюбленной». *В ужасный лес вступила жизнь твоя* — ср. начало «Божественной комедии» Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу...». Сожженная Психея, так же как и погребение Орфея в стих. «Он с каждым годом уменьшался...» — образ, говорящий о гибели мифов вагиновского «туманного эпоса».

НАРЦИСС — СС, с. 183. «Прозаический» поворот темы двойника — ср. «В стремящейся стране...» и др.

«ЗОЛОТЫЕ ГЛАЗА...» — СС, с. 184. Строка *Золотые глаза* выписана Д.Хармсом на отдельном листке вместе с другими строками Вагинова (см. ниже): ОРиРК КПБ им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, ф. 1232, № 368, л. 4. Хармс имел привычку записывать понравившиеся или запомнившиеся строки других авторов, по большей части, как можно предположить, во время

совместных читок. Чаще всего записанные Хармсом строки принадлежали А.Введенскому, что дало повод М.Мейлаху ошибочно включить эти строки Вагинова в «Приложение III. Фрагменты произведений [Введенского], до нас не дошедших» к кн.: Введенский А. Полное собрание сочинений. Ардис/Анн Арбор, 1980-1984. С. 206. О знакомстве Хармса с последней книгой стихов Вагинова свидетельствует также запись на обороте листка со стихотворением «Узы верности ломаешь...» (тот же фонд, № 123), датированным 18 сентября 1931: «Вагинов. Звукоподобие. Голос нэпа. Негр и медь. передник перед ним сновал»; там же — строки, выписанные из произведения А.Введенского «Куприянов и Наташа», с оценками Хармса. Можно предположить, что имела место некая совместная читка — доказательство того, что к 1931 г. связь между Вагиновым и обэриутами еще не совсем ослабла.

«ОН С ЮНОСТЬЮ СВОЕЙ, КАК ДОЛЖНО, РАСПРОЩАЛСЯ...» — Нева, 1882, № 6, с. 201 (Л.Рахманов), как первая часть одного стих. вместе со следующим; в машинописи они напечатаны в подбор и, возможно, являются двумя частями маленького цикла. В СС (с. 188) — отдельно. В журнальной публикации, в отличие от СС и машинописи, вариант первой строки (возможно, ошибочный): «Я с юностью своей...». Слова *он с юностью своей* выписаны Хармсом на том же листке (см. предыдущее примеч.). *И хор цветов и голоса зверей* — возможно, аллюзия к мифу об Орфее, см. выше; в СС опечатка: вместо «зверей» — «дверей».

«ВСЮ НОЧЬ ДОМА ДЫШАЛИ СВЕТОМ...» — там же; СС, с. 185. Может относиться к одному из героев романа «Гарпагониана» — Локонову. Начало строки «Он, как и все, был утомлен» — третья и последняя запись на листке Хармса (см. предыдущие примеч.).

«ПОДДЕЛКИ ЮНУЮ ЛЮБОВЬ НАПОМИНАЮТ...» — Литературный современник, 1934, № 11, с. 57, где это и еще два стихотворения (см. ниже) объединены общим заголовком: «Три стихотворения (Посмертные стихи)»; СС, с. 204; Нева, 1982, № 6, с. 200 (Л.Рахманов) с ошибкой: «подделки юные».

«КЕНТАВРАМИ ВОСХОДЯТ ПОКОЛЕНЬЯ...» — СС, с. 191. Мифологическое существо, получеловек, полуконь — кентавр, играющий популярную шарманочную мелодию — «Разлуку», — характерный для Вагинова образ странного слияния античности с современностью.

«НОРД-ОСТ ГНУЛ ПАЛЬМЫ, МУШМУЛУ, МАСЛИНЫ...» — День поэзии. Л., 1967. С. 78-79 (Т.Никольская, Л.Чертков); СС, с. 205. *Элизиум* (греч. миф.) — поля блаженных, загробный мир, куда попадают праведники.

ЮЖНАЯ ЗИМА — СС, с. 203, под ошибочным (?) названием «Южная ночь». *А дикая зима все продолжалась...* — ср. описание зимних оттепелей в конце Б; в том же романе — не связанное с текстом описание шакальих концертов.

«ПОЧУВСТВОВАЛ ОН БОЛЬ В ПОТОК ЛЮДЕЙ ГЛЯДЯ...» — СС, с. 202.

«ВСТУПИЛ В КРЫМУ В ЗЕРКАЛЬНУЮ ПРОХЛАДУ...» — Литературный современник, 1934, № 11, с. 57; СС, с. 206. *«Кармен»* — опера Ж.Бизе (1875).

ЛЕНИНГРАД — там же, с. 57-58, без заглавия и разбивки на строфы; День поэзии, Л., 1967: с. 78 (Т.Никольская, Л.Чертков); СС, с. 207.

«В АДУ ПРЕКРАСНЫЕ СЕЛЕНЬЯ...» — СС, с. 208; в примеч. к этому изданию указана и другая датировка: декабрь 1933 г.

СОДЕРЖАНИЕ

II

III

IV

V

VI

VII

II. СТИХИ 1924-1926 гг.

III. СТИХИ 1927-1934 гг.

ЗВУКОПОДОБИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 Звездочка здесь и далее означает, что материал дается в отрывках.









